



**РУССКИЙ
ПУТЬ
НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ**

Издается
с 2003 года

Зарегистрирован
Министерством
Российской Федерации
по делам печати,
телерадиовещания
и средств массовых
коммуникаций.
Свидетельство
о регистрации
ПИ № 77-17964
от 8 апреля 2004 г.

*Литературно-художественный,
общественно-политический
и научно-популярный
журнал современных писателей
Центральной России*

№ 2 (11)/2006

Главный редактор

Тираж бумажной версии 700 экземпляров.

Евгений ЧЕКАНОВ,
член Союза писателей России

Учредитель и издатель:
общество с ограниченной ответственностью
«Редакция газеты «Губернские вести».

Редакционная
коллегия:

Журнал выходит в свет 4 раза в год
и поступает во все областные
и центральные районные библиотеки
9 регионов Центральной России —
Ярославской, Костромской, Ивановской,
Владимирской, Рязанской, Тульской, Брянской,
Смоленской и Тверской областей.

Николай СМИРНОВ,
член Союза российских писателей;

Тамара ПИРОГОВА,
член Союза писателей России;

Адрес редакции: 150000, г. Ярославль,
ул. Революционная, 28, 1-й этаж.
Телефоны редакции:
(0852) 72-74-52 (гл. редактор), 25-99-60
(отдел подготовки рукописей, после 18.00).

Альфред СИМОНОВ,
руководитель общественной приемной
полномочного представителя
Президента Российской Федерации
в Центральном Федеральном округе
(по Ярославской области);

Редакция не вступает в переписку
с читателями, не рецензирует
и не возвращает присланные рукописи.
При перепечатке ссылка
на «Русский путь на рубеже веков»
обязательна.

Андрей ВАСИЛЬЧЕНКО,
кандидат исторических наук.

© ООО «Редакция газеты
«Губернские вести», 2006.

Ярославль

ПОЭЗИЯ



Юрий Капустин

И песни петь, и говорить по-русски

* * *

Когда весь мир погряз в постыдном блюде
И от небес потеряны ключи,
Смешно смотреть, как суетятся люди,
Ворочая в потемках кирпичи.

Текут мозги, сверкают португели
Средь сытых крыс и высохших клопов...
И снится мне последний день Помпеи
И груды обожженных черепов.

ПОЕЗД НА ЗАПАД

Путь не виден в тумане, но мчится наш поезд упрямо.
Нет на нем тормозов, а котлы закипают всерьез.
И разинула пасть придорожная жуткая яма,
Чтоб глотать костыли, что со свистом летят под откос.

В этой яме давно похоронены все идеалы,
Все былые надежды... В потоках горячей золы
Поезд мчится на запад. Рычат, прогибаются шпалы,
Словно спины народа, уставшего от кабалы

Юрий Васильевич Капустин родился в 1941 году в Рыбинске, ребенком был эвакуирован в Уфу, в школу пошел в Иванове, в 1950 году вернулся в Рыбинск. После окончания средней школы работал на заводе, служил в армии, в 1971 году окончил Московский институт инженеров землеустройства по специальности «архитектура». В 70-х годах прошлого столетия работал архитектором в институте «Яргражданпроект», затем конструктором-архитектором в объединении «Рыбинские моторы». Увлекался графикой, редактировал стенгазеты, посещал театральную студию. В качестве туриста и инструктора по туризму побывал во многих заповедных уголках Советского Союза. В настоящее время - пенсионер.

Стихи начал писать в школе, публиковался в многотиражной и районной печати, коллективных сборниках. В 1999 и 2000 гг. в Рыбинске увидели свет книги его стихотворений «Озорные чудачки» и «Прозрение». В 2004 году опубликовал в нашем журнале стихотворение.

Живет в Рыбинске.

© Юрий Капустин, 2006.

* * *

Вот и последний летний день
Нырнул в осенние перины.
Угас задор, проснулась лень,
К подошвам липнут комья глины.
Но кто ж не спит? Кто бросит клич
С одной из русских колоколен?
Сырая глина — не кирпич,
Запечный Муромец — не воин...

* * *

Что жизнь!.. Негромкий всплеск весла
Средь топких кочек и обломков.
Вчера мне дочка принесла
Трех новоявленных котёнков.

И унесла свой звонкий смех
В туман девического рая.
А я — я взял на душу грех
И вырыл яму у сарая.

И уронил холодный ком
На теплый ком, на нежный волос...
Но прогремел далекий гром:
— Оставь того, кто подал голос!

ОЖИДАНИЕ

Из года в год, в один и тот же день.
С трудом подняв свои больные ноги,
Она одна выходит за плетень
И ставит столик прямо на дороге.

На вышитый с любовью рушничок
Раскладывает, вынув из платочка,
Бутылку водки, хлебушек, лучок,
А рядом — фотографию сыночка.

И, нацепив на вязочках очки,
С глухой тоскою смотрит на дорогу.
Уставших глаз застывшие зрачки
Еще таят надежду и тревогу.

Покуда силы есть, из года в год
Она трудит свои больные ноги.
Она одной надеждою живет
И ставит столик прямо на дороге.

* * *

Бетонный блок, тахта, телегулаг,
Хмельной синдром постылого рассвета...
Скорей, скорей в леса от этих благ,
Пока мечтою подана карета!
Туда, где клеверами пахнет Русь,
Где шелестят березовые блузки,
Где в тишине я заново учусь
И песни петь, и говорить по-русски.

* * *

Вот и новый день иссох
В мареве пылинок.
Снизу черт, а сверху Бог,
Посредине — рынок.

Как ни бейся, как ни три
Лампу Аладдина,
Джинн не выйдет изнутри...
Спит себе, скотина!

* * *

Вот и выбран лимитный ресурс,
Жизнь прошла, как вчерашняя мода.
Мы ложимся на заданный курс,
Хоть кругом штормовая погода.
Ловим разум в угрюмом вине,
Ищем норы и тайные ниши.
Потому что в пучине, на дне,
Как всегда, и спокойней, и тише...

ЗА ЧЕРНИКОЙ

Лето. Полдень. Клевер с викой
Гасят шаг на полосе.
Мы с любимой и с черникой
Выползаем на шоссе.

Перемазали все тряпки,
Но набрали литров сто.
«Молодцы!» — сказали бабки.
Но подумали не то.

* * *

Отзвенела страда полевая,
Гасит осень последние дни.
На покосах трава молодая
Стынет в жестких колючках стерни.

Серой птицею день улетает,
Ночь черна, как колесная мазь.
По утрам хорошо подмерзает
В колесах надоевшая грязь.

Над заснувшими кронами сада
В суете уходящего дня
Бродит грустная песнь листопада
И зовет за собою меня.

ПРОЗА



Николай Смирнов

Сын Коли-бога

Повесть

Жила в деревне за Волгой женщина — все звали ее Машей. Она первый раз вышла замуж в восемнадцать лет, и только родила девочку — мужа угнали на фронт и убили. Маша тогда работала в катальной мастерской в Корстове, и стала понемногу воровать шерсть и продавать. Ее поймали и стали судить. Машина тетка приносила на суд девочку, показывала, но судьи не смилостивились и посадили Машу. Девочку тетка увезла к себе в Бежецк и вырастила. Освободившись, некоторое время Маша прожила одна, а потом вышла замуж во второй раз, за Колю-бога.

Она была моложе его на двадцать лет. Народ дивился: какого нашла себе пьяницу и лежня — за него ни одна хорошая баба не пойдет! С юности Коля-бог не любил работать, пил и гулял, ходил по миру, околачивая наличники, власть признала его ненормальным — и даже на фронт не взяли.

Маша, как могла, оправдывала мужа: «ничего, что он такой, зато не бабник!» Своего дома у них не было, жили по чужим людям. Родился сын, потом еще сын. А потом Маша прогнала от себя Колю-бога и даже на улице перестала к нему признаваться, говорила: «Один дух от него какой идет, бабы — убежишь!» Фамилию и сама Маша, и дети ее носили первого мужа — Симоновы.

Коля-бог пристал в деревне к бывшему тестю, пьянице. Когда у тестя кончались деньги, околачивался в Корстове, ночуя, где придется. Как-то приехал из Корстова в деревню, а тесть уже третий день лежит мертвый, крысы объели лицо и персты. Потеряв пристанище, стал он жить в ближнем селе, в подвале только что закрытой церкви. Но мальчишки разорили его лежбище и даже матрац бросили в Волгу.

Николай Васильевич Смирнов родился в 1950 году в деревне Коровино Мышкинского района Ярославской области. До 1962 года семья жила на Колыме, в Оймяконском районе Якутской АССР, где работал, после отбывания срока по 58-й статье, отец Николая.

В 1975 году закончил Литературный институт имени Горького. Работал научным сотрудником в музее Н.А. Некрасова «Карабиха», в настоящее время — журналист, сотрудник областной газеты.

Стихи и прозу пишет с детства. Поэтические подборки публиковались в коллективных сборниках, журналах «Юность», «Волга». Автор четырех книг стихотворений — «Кладбищенская земляника», «Невеста в темном», «Световое оконышко», «Пора моя неподсудная». Лауреат областной премии им. Трефолева. Член Союза российских писателей с 1993 года. Постоянный автор нашего журнала.

Живет в г. Мышкине Ярославской области.

© Журнальный вариант. Николай Смирнов, 2006.

Вскоре Коля-бог снова появился в Корстове и нанялся на пекарню грузчиком, чтобы заработать под старость пенсию. Одет он был в то, что осталось после тестя: серая косоворотка, подпоясанная кушаком — тогда таких никто уже не носил — соломенная шляпа с обвисшими полями, штаны и кирзовые сапоги. По выходным, напившись, расхаживал у чайной, точно напоказ, и громко кричал: «У меня есть красная книжка!» Или косноязычно спорил сам с собой на два голоса: «Бог есть-есть-есть-есть!», и тут же резко перебивал сам себя: «Бога нет-нет-нет!.. Один черт вокруг!» При этом широкое, темное лицо его, с толстыми морщинами и ежиными колючками на подбородке, сатирически кривилось. Встретив знакомого забулдыгу, он обнимался с ним и громко целовался.

Был Коля-бог человеком в личине: проходя мимо собора, где был устроен склад райпо, истошно, пьяно начинал молиться. Причисляя к чину последних корстовских людей, взрослые старались его обойти, а мальчишки сбегались и дразнили: «Коля-бог, Коля-бог на подушке ловит блох!»

Два слова этих — «Коля» и «бог» — удивительно быстро и прочно срослись в одну, уничижительно-веселую кличку. Сами корстовцы так растолковывали нехитрые ее смыслы: «Вот-де какой у нас мужик есть — пьет-гуляет, грешит, а сам прикидывается божественным — да не такие ли и все вы?» И случалось, что когда в разговорах употреблялось слово Бог, какая-нибудь бабенка сразу же начинала бессмысленно ухмыляться: «какой бог — Коля, что ли? Другого не знаем».

Настоящая же его фамилия была Сиянцев, звали по паспорту Николаем Прохоровичем.

Сыновья у Маши стали вставать на ноги, пришел из армии старший, Владимир, взяли младшего. Маша, накопив денег, купила в Корстове полдома.

С бывшим мужем она не виделась, и только однажды, в темный, глухой декабрьский день, пустила его к себе. Он побыл у нее с полчаса, вышел, не закрыв калитку, и побрел по топкой от свежего снега уличной колее, пересекавшей поселок из конца в конец — в черном, обтрепанном понизу пальто до пят, словно большой, унылый грач. По пути он заговаривал со знакомыми и протягивал им свою черную руку; знакомые, пожав ее, торопились на обгон, и тогда он кричал им в спину: «Сын у меня в армии застрелился, только что Маша сказала!» Кто-то останавливался, расспрашивал его, но чаще люди делали вид, что не расслышали.

— Дурак, вот дурак! Из-за чего? Из-за бабы! — рассказывал Коля-бог. И еще несколько раз, то жалостно, то отстраняюще-насмешливо повторял: «дурак-дурак!»

Однако, помолчав, прибавлял: «А хороший был, не забывал батьку, всегда угощал с получки. Не то, что Вовка».

Старший сын Коли-бога, Владимир, жил в то время в Рыбинске, работал на заводе слесарем, в ремонтной мастерской. Мать после случившегося несчастья звала его домой, ей стало скучно одной. Но Владимир не ехал, ему было некогда. Он хотел стать поэтом, напечатать книгу, и вот однажды, решившись, собрался в Ярославль, в писательскую организацию.

Как и все молодые люди, Владимир Симонов верил во «что-то». «Что-то» с ним вдруг должно случиться и перевернуть всю его жизнь: вдруг выйдет книжка, или направят на учебу! Однако лицо его, несколько застылое, но приятное, ничуть не выдавало этих мыслей, лишь влажновато-красные губы произвольно приоткрывались в самом сочном месте мечты. Но ярко-черные, как бы со слезой, глаза смотрели спокойно.

В Ярославле он был до этого только в военкомате, а тут надо было найти маленькую улочку — Красный съезд. Он повторял про себя это название, и представлялась ему толпа с красными флагами и плакатами. Смешиваясь с этой призрачной толпой (ведь и писатели, наверное, такие же коммунисты — и что ему с ними? как?), все глубже погружался он в свои грезы.

Улочка начиналась от большой площади, где стоял кряжистый каменный Ленин, а над гремящим машинами узким переулком высилась с таринная, полосато свежескрашенная пожарная каланча, которую он сначала принял тоже за какой-то советский памятник, и все приглядывался к ней, пока не загородил ему дорогу милиционер, крикнувший:

— Ты куда идешь?

— В писательскую организацию! — судорожно высвободившись из своих мыслей, объявил Симонов.

— А попадешь на кладбище! — приближая лицо, все тем же раздраженным криком нажал милиционер так, что Симонов невольно обшарил взглядом площадь, искал даже выше каланчи: где тут могилы? Но тут же, поняв, что о милиционер кричит о кладбище в переносном смысле, забормотал, притворно извиняясь, и был отпущен без штрафа.

И пошел дальше мимо листов крашеного железа со спутниками, коровьими головами и колосьями.

Нужный дом по-старинному уютно гнезвился в низко осевшем дворике. Окно в улицу было почему-то благодушно, по-домашнему распахнуто. Это так Симонова поразило, показавшись притворным, что он сперва прошел мимо, заподозрив, что писатели — люди праздные и жестокие, далекие от жизни, а он ведь сын Коли-бога, так зачем он к ним? Улочка была забыто-тихой, точно таяла в медленном тополином пухе, автомобилей навстречу здесь не выкатывало, он шел все медленней и все-таки заставил себя возвратиться.

— Не окажете ли вы мне помощь в смысле написания стихов? Я рабочий и з Рыбинска, — начал Владимир напряженным голосом, примериваясь к лицам сидевших за столом.

Их было двое, один, черный, нахохлившийся, сначала помалкивал. Другой, самый главный, Иван Алексеевич Хитров, выпросил: кто родители? Симонов ответил: колхозники. Лицо выпрашивающего лоснилось добродушным блином, а рыжим веночком волос вокруг лысины он был похож на отца Симонова, Колю-бога, и говорил мягко, по-деревенски. Осмелевший Симонов — он все это время стоял перед ними — даже слегка заспорил, когда они стали разбирать лучшее его стихотворение, о рабочих, мотоцикле и скоростях современной жизни, и неожиданно для самого себя рассмеялся трескучим смехом.

Иван Хитров, оставив его тетрадку, сказал, что основа есть, рабочая тема им нужна — и увидел, как блестящие глаза стоящего перед ним свежего, круглолицего парня снова налились удивившим его смехом. Иван Хитров так нажимал на *о*, что в груди Симонова слово *основа* сделалось колесом — и долго еще катилось это веселое колесо перед ним, когда он вышел из уютного домика довольный и удивленный, что правильно угадал, какие они есть, писатели. «Такого, в случае чего, и за шиворот взять можно», — промелькнула у него мысль о Хитрове. Так он шел за этим колесом, пока не спохватился, что ему совсем в другую сторону — к каланче. Чтобы не возвращаться мимо распахнутого в улицу благодушного окошка, Владимир перешел на противоположный тротуар — к плакатам.

Мастерская — низенькая, сараеподобная; цементная штукатурка на стенках местами отпала. За железным столом в обеденный перерыв сидели рабочие, играли в домино, Симонов рассказывал им про свою *основу*. Рассказывал с какой-то, вдруг появившейся у него, мрачностью, хотя настроение у него вообще-то было хорошее. Здоровяк-радиомастер сказал: «Ну, давай, пиши!» Только пожилой эстонец, тоже, как и Симонов, слесарь, вдруг выкатил белые, упрямые глаза: «У тебя же нет никакого образования, Вовка!» Слесарь когда-то окончил суворовское училище, служил офицером, но за пьянку его выгнали со службы. Симонов задиристо заспорил: «А у тебя есть, и что тебе оно дало? Талант нужен, а не образование!» Симонов думал про свои стихи, что они хорошие: еще в армии, в стройбате, товарищи его хвалили, один даже так говорил: «Молодец, у тебя

много чувства!» И здесь, на работе, хвалил его не только радиомаст ер, но и газосварщик, отсидевший срок в лагере и в поэзии понимавший.

Кирпичный сарай мастерской был построен для железа, но люди в телогрейках обжили его, заляпали масляными пятнами, в нем плотно, как в кадучке, устоялось время тысяч человеческих дней. Когда утром Симонов сюда приходил и надевал спецовку, жизнь в стенах с оббитой штукатуркой тоще, тщедушно оживлялась; среди верс таков и станков плоско, как щиты, вырезанные из фанеры, громоздились день за днем. Первыми в обеденный перерыв за железный стол всегда садились радиомастер и эстонец-слесарь в синей, новой телогрейке. Все громко, грубо шутили и смеялись. Однажды Симонов обернулся от домино — за спиной стоит спустившийся со второго этажа начальник мастерской, высокий, в мятом, никогда, видно, не гла дившемся костюме. «Вчера твои стихи по радио читали, хорошо!» — похвалил он своим шепелявым голосом, и почти Ивана Хитрова движением пожал руку Симонову. Все стали спрашивать: по какому радио? Симонов весело посмотрел на невозмутимого эстонца в синей телог рейке и, торжествуя, ушел покурить в котельную к пенсионеру, летом работавшему сторожем, а зимой — кочегаром. Но тот плохо себя чувствовал, да и вообще он был всегда грустный, этот толстячок в валенках с галошами. Еще когда Симонов только устроился на зав од и впервые зашел в котельную погреться, этот пенсионер рассказал ему, как форсировали они Днепр и как он всю ночь, дожидаясь немецкой атаки, пролежал на захваченном берегу в мокрой, заледеневшей одежде, и как проклял все: скорее бы смерть, чем такая жизнь! Владимира тогда поразило это отчаяние: ведь пенсионеру в военные годы было всего -то восемнадцать лет. Звали толстячка Гомзиным.

А недели через две пришло и письмо из писательской организации, от Ивана Хитрова. Симонов первый раз прочитал его один, в общежитии, соседям по комнате ничего не рассказал, а для второго раза ушел на улицу, чтобы задумываться не мешали. Редкие прохожие шли навстречу, он сталкивался с их бессмысленными взглядами и замечал, что никто из них не смотрит на белую бумажку в его руке. Ему захотелось прочитать это письмо матери. Он представлял ее тихое лицо, внимательные синеватые глаза, черную пальтушку, и от этого ему становилось грустно и радостно.

Придя с улицы, он поел и сразу лег спать, и ему приснилось, что он уже приехал к матери. Лежит будто на диване, один в большой комнате, мать спит на прохладе в сенях. Ночь не то, что в Рыбинске — глубокая, беззвучная. Хорошо слышно, как там, в сенях, шастит кто-то, постукивает. Встает он будто, выходит в сени, мать лежит на своей кровати, не шевелясь. Был из соседней половины дома когда -то ход прорублен к ним, теперь даже двери заколочены. И вот, оказывается, пьяный сосед зачем -то повыдергал гвозди и поскрипывает, постукивает створами, заглядывая бессмысленно в щель.

«Что же, он плохого не сделает, свой!» — думает Симонов и возвращается в комнату. Ложится на диван, но заснуть уже не может. Прислушивается.

Снова — стучит! Уже вроде не дверями, а в сенях кто -то ходит... Вскочил. Подошел к двери с испугом: дверь-то у меня на крючок не заложена — сейчас войдет! А вдруг он мать убил?

Стоит он так в темноте, ждет, но еще вперед шагнуть, дверь на крючок заложить — сил уже нет. И вот кто-то вваливается, шарит невидимый в темноте по стенкам. Набрался духу, да как закричит на него Симонов: «Ты что зд есь ходишь, стучишь?» А тот как заматерится: «А почему бы мне здесь не ходить?» — у Симонова и дух перешибло. Включил свет — а *тот* сразу отвернулся к стене. Воротник поднял, лица не видать, а плащ-то серый, брезентовый! Симонов узнал, чей это плащ.

Потом будто ушел он спать. И не успел заснуть — в третий раз застучало. Снова Симонов вышел в сени, долго-долго сторожил стуки. Подкрался к двери уличной, открыл ее — и лицо в лицо оказался с самим собой.

Второй Симонов, знакомо грустный, стоял перед ним на крыльце. Жадно любопытствуя, приблизил Владимир, словно бы для примерки, свое лицо к этому второму

Симонову – и козырек кепки ткнулся ему в лоб. И кепка такая же, как у меня... моя! Вот какой, значит, я? Не в людях, не на работе, а по настоящему: просто, как умаленный силуэт, а не человек!

Его вдруг остановило непонимание: серый, дымчатый свет этого непонимания, изумляя, все плотнее обволакивал его душу. Так порой в мастерской очаровывало его, бывало, похожее отчуждение: силился он понять — что это? — глядя, как из иного мира, на привычные окройки железа или на синие гирлянды стружек у станка.

Глаза открылись — и все пропало. Лежа в серой яме общежитской комнаты, Симонов долго слушал грустное похрапывание соседей, завывание ночных автомобилей, думая: зачем снятся сны? Стал уже и задремывать, и вдруг, начисто отбив сон, охватила его необъяснимая ненависть к шепелявому начальнику мастерской: «Ага, гад, зашевелился! А ведь даже на работу брать не хотел!»

На особую, раскрашенную доску в мастерской вывесили приказ ы начальства. Симонов прочитал, что его назначили политинформатором. Это из-за того, что я стихи пишу, подумал он, заметили, сволочи. Он был доволен, но тут же забеспокоился: рабочие не любили эту бумажную болтовню; вспомнил он еще, как бывший офицер упрямил его, и как сам он со смехом рассказывал газосварщику о своей поездке в Ярославль, и даже при этом изображал, с какой миной милиционер говорил: «А попадешь на кладбище!» «А чего тут смешного?» — стало досадно ему.

С политинформациями он выступал здесь же, в мастерской. Для этого на работу надо было приходиться на полчаса раньше. За железный стол рядом садился начальник, и Владимир, иногда оглядываясь на него, читал когда по бумажке, а когда и без нее. После выступления его часто начинали подначивать, под дразнить. Газосварщик, посмеиваясь глазами, колот: «Собрание кончилось, теперь поговорим по душам!» А добродушный радиомастер добавлял всегда одно и то же: «Почему в обкоме все буфеты и столовые поделены на четырнадцать классов?»

Симонов язвил бы точно так же, будь он на их месте, и от этого еще больше раздражался, в груди у него становилось жарко, он краснел, как от натуги, ругался. Рабочие довольно смеялись, а бывший офицер сурово следил за ним издали своими белыми глазами.

В пятницу, часа за три до окончания работы, он сходил на второй этаж, к начальнику: попросил отпустить пораньше – съездить к матери. И начальник не только не оговорил его, как в прошлый раз, но с улыбкой, неловко привстав из-за покрытого стеклом стола, даже пожал ему руку. Симонов опустил голову и подумал: «А ведь меня и не спросили даже, хочу ли я быть политинформатором...»

Он собрал пакеты с сухой штукатуркой, новые затворы на окна, новые, бронзового цвета гардины. Автобус покатило. Симонов глядел в пыльное окно, продолжая внутренне корить начальника и бессознательно повторяя под шум мотора: «Почему я раб, раб, раб?» Сначала пригородная, болезненная синева жалась к дороге, а потом небо стало высоким, глубинно успокоилось. Долго летел в глаза рыжий травостой, перемежавшийся кустами. Засыпающая к вечеру под нежное тарыхтение кузнечиков, вдруг вырвалась из тесной белоствольной чащи берез фиолетовая и красная от цветов луговинка. И Симонов, запоминая ее для стихов, почти прилег лицом к оконному стеклу.

Диким, обросшим кустами, столпом заторчала внизу, под горой, разрушенная церковь, в подвале которой когда-то жил его отец. Разбросанное, забытое кладбище. Скоро и Корстов.

У грубого бетонного навеса, броско исписанного в темный час угольями и мелом, стоял боком к автобусу Коля-бог. Тепло, а он был одет в брезентовую плащ-палатку, выгоревшую, негнущуюся, всю в пятнах. На голове — подаренная когда-то Владимиром военная фурага-фургон без звездочки. «Вон и Коля-бог!» — засмеялся кто-то в автобусе.

Симонов подошел к отцу, а тот, нарочно отвернувшись к сыну спиной и обращаясь ко всем сразу, завскариковал: «Вон-вон-вон, мой сын!» До дома матери ходу было минут двадцать, и сын, чтобы отстать от народа, отвел отца в сторону, за плотные кусты акаций, в пустой скверик, где стояла бетонная пирамида со звездой. Они сели на лавочку, закурили. Из-под куста уставилась на них задумчиво рывшаяся в теплой пыли курица.

— Вовка! — сказал Коля-бог с личинной, значительной суровостью, — Вовка, ты отца не забывай — Бог все видит! — И стал по своей привычке косноязычно мять и корезить повторением эти слова.

Потом снял фургон, обтер лысину рукой: пальцы у него были заплывшие, без суставов, черные, почти без ногтей. Открывшийся лоб сатирически широк, вокруг мокрого, толстого губа рта шевелились, как у ежа, колючки.

Сын думал: похвастать или нет, что Иван Хитров обещал напечатать его стихи и что их уже передавали по радио? Сдержался, но от досады вслух обругал отца словами, которые не раз слышал от матери: «Перестань приставляться!» Тогда отец — был он ростом ниже сына на голову — встал, возвысил голос, выступил одной ногой вперед, как на сцене, и дурашливо поднял руку к небу.

Владимир дал ему на вино, отец тут же начал хвалить сына, заплакал, полез целоваться, колол щетиной, губы холодные, шершавые, как мокрая мешковина.

— Матери не говори, что ты мне денег дал! Вовка — не говори! — начал притопывать ногой отец.

Сын смотрел, как бы поскорей уйти. Но Коля-бог, нахлобучив фурагу, сам заторопился прочь. Довольный, он вернулся к бетонному навесу автостанции, за которой искал пустые е бутылки в лопухах старичок-пьяница Петя Сандалов. По вечерам этот Петя напивался и истошно выкрикивал на пустых, темных улицах разные фразы по слогам — так, что, только вслушавшись, можно было понять смысл: «Долой генерального секретаря центрального комитета коммунистической партии Леонида Ильича Брежнева! Долой председателя совета министров Алексея Николаевича Косыгина!» Его уже не раз вызывали за это в милицию, угрожая судом, но он отвечал, что ничего не помнит. И, немного погодя, снова кричал: «До-лой-ге-не-раль-но-го-сек-ре-та-ря-ком-му-нис-ти-чес!..»

Встретившись, Коля-бог и Петя Сандалов обнялись и троекратно поцеловались. Коля-бог выкрикнул браво:

— Китай на нас идет!

— Китай на нас идет, — поглуше подтвердил Петя Сандалов, — давай спаяем на рюмочку, братец!

В это время к автостанции подъехал автобус из деревни — полным-полнехонький. Коля-бог пошел впереди народа и закричал на всю улицу:

— Ленин жив-жив-жив! Он облечен в Кремле в царские одежды!

Владимир уже подходил к дому, радуясь приезду. Мысли о б отце досаждали, но не очень больно, даже делали радость острой. Он не замечал, как многое здесь говорило о людской бедности: улица, по которой он шел от автостанции, начиналась с заброшенного дома с вынутыми уже оконными рамами, дальше по задворкам лепилась огородики, разные сарайки, сделанные иногда чуть ли не из картонных коробок: чтобы обустроиться на этой земле, местные жители использовали всё, начиная от ржавого, свалочного железа и бывшей в употреблении фанеры.

Мать вывешивала на веревку в огороде выстиранное белье. Владимир еще с улицы окликнул ее, стал говорить, что он привез новые гардины и что получил из Ярославля хорошее письмо от Ивана Хитрова, что, может, скоро у него и книга выйдет...

В большой комнате он разложил все привезенное на столе. Громко говорило радио, передавали последние известия, кто-то суровым голосом рапортовал с листа: в закрома государству миллионы пудов, встали на трудовую вахту...

— И меня политинформатором, мама, сделали!.. Даже и без красной книжки! — выкрикнул Владимир. И с нарочитой гримасой хозяина увернул звук пластмассовой коробочки: как насекомое на стене раздавил. — Хоть дома-то этому начальству пятки прижгу! Говорят, что всего много у нас — почему же мы, рабочие, живем и ничего не видим?

Это он произнес, глядя на мать, уже рассерженно.

— Вовка, да ты не говори никому таких слов, а то тебя посадят!

— Что же: они нас прижимают, а нам — молчать?

— Вовка, Бог ты мой!

Такой разговор случался между сыном и матерью почти в каждый его приезд.

— Начальству не перечь. Слушайся. Какую работу ни прикажут — выполняй... и будешь жить хорошо! — говорила ему мать. — Ведь ты один у меня остался...

Обычно после упоминания о застрелившемся в армии брате Владимир или начинал кричать еще громче, или разговор сам собою уводился в сторону. Так и в этот раз вышло: он замолчал и взобрался на стол — новые гардины примерять.

— Сегодня уж отдохни с дороги, — сказала мать, — завтра приколотишь. Чего на ночь стучать-то?

«Стучать?» — вдруг тревожно потемнело в нем это слово и, словно камень -плитняк, расслоилось на ряд пластин, потеряв от слоения свой привычный смысл — это вдруг он вспомнил про свой сон. «Вот я уже и дома!» — сказал он сам себе, как бы отвечая тому, что только что совершилось со словом «стучать» — и от этого еще четче, объемнее вспомнил свой сон.

— Над стихами еще надо посидеть! — сказал он матери.

Мать поглядела на него тем же взглядом, как и тогда, когда он ругал начальство.

Он вышел, сел на крыльцо, закурил. Вылез из будки Дружок, белесый от старости пес, доставшийся им еще от прежних хозяев дома. Позевывая и ласкаясь, он тянулся к Владимиру мордой, будто хотел сказать что-нибудь вроде: «я ведь не зря здесь лежу — потому что ты тут!»

За дощатым, старым забором по крепко убитой тропинке кто-то прошел, протопал. В этих уверенных звуках было что-то неуловимо странное, тотчас же присоединившееся в нем к вспомнившемуся сну. А вдруг, действительно, сейчас стучать начнут?» — подумалось ему. «Да ведь и посадить могут», — стало ему страшно. От этой мысли он даже встал, точно мог выйти из нее, как из тени — и собака тут же задрала морду, ждущее глянула на него...

— Вовка, ты тут? — окликнула мать из сарайки, пристроенной ко двору.

Он, медлил, не отвечал, все в нем зыбилось и клубилось какими-то темными пятнами.

— Вовка!.. — громче, затревоженной позвала мать.

— Надо забраться на крышу, — ответил он и, не слушая отговоров, деловито потащил от дома дряхлую лестницу. Мать из сарайки стуком палки в крышу указывала места, откуда текло, а он сверху щупал, не разорван ли там толь, а сам все вспоминал свой сон и беспокойно удивлялся ему.

Мать готовила ужин, а он, оставшись на крыше, снова закурил, стряхивая пепел в пустую пачку из-под сигарет, и слушал. Мягкая, теплая темнота, подбиравшаяся от сосняка, погрузила в себя улицу. Откуда-то, словно с большой глубины, мелко, четко лаяли собаки. В огороде, меж ягодных кустов, верещали кузнечики, и этот звук слышался ему оглушающе близко, будто сам воздух верещал нежно и старательно у него под ухом. Под самым ухом еще и мелконько позвякивали звенья цепочки, тонко перебираясь, словно копеечки в ладони — это Дружок внизу, у конуры, спать укладывался.

Влажным, апельсиновым светом горели окна. Фонарь на столбе перед домом принял образ одинокого, бездомного человека, и тусклый воздушный свет его Владимир поневоле сравнивал со своими грустными ночными мыслями. Вслушиваясь в вечер, он даже встал на колени. Стоял на шершавом толе, пока не заломило коленные чашечки. Сложилось

несколько строк. Сев поудобнее, он обрадовался: вот ведь, никто и не знает — ужинают себе за окнами — а о них уже стихи есть: «Вечером люблю сидеть на крыше, слушать лай собак и треск сверчков...»

На небе не было ни звездочки, оно затучилось, стало мягким, глухим. «А кругом становится все тише от давящих землю облаков» — добавилась еще строчка.

Пожинав, он продолжил сочинять сквозь дрему, уже лежа на диване. Но вата ночных облаков набилась и в душу, стихотворение оглохло, стало смешным, нескладным. Так, в беспокойном сне, он и провалялся всю ночь.

С утра Владимир начал приколачивать гардины, потом взялся крышу на сарайке смолить. Так ему было хорошо за этой работой после назойливых ночных мыслей, будто и не уезжал никогда от матери. Обедали, и мать повторяла свой извечный рассказ: как, когда они еще в деревне жили, Вовка увел младшего брата в бор, на б елый мох: «Эвон, куда ушли, не смотри, что маленькие были!» Эти слова выговаривались ею всегда с нежностью и отделялись ласковым молчанием. Опуская глаза, и Владимир молчал, ждал, чтобы мать завершила привычным: «я иду, зову -зову вас, а вы не откликаетесь! Взались за руки и стоите под деревом...» И тут мать высвобождала на лицо всю спрятанную прежде внутри улыбку и спрашивала:

— Сам-то хоть помнишь? Тебе ведь уж, думно, четыре года было?..»

Углы голые; цельные стекла в железных рамах от полу до потолка; стены обшиты сучковатым, проолифленным тесом. Как в огромном ящике сидишь. И только на заднике стены, куда все стулья смотрят, будто свисает сверху багровая завеса, а на ней пепельно-серо-гипсовая голова — Ленин.

Симонову секретарь партийной организации Уткин велел быть здесь в пятнадцать часов. Владимир пришел на двадцать минут раньше, сидел у толстеного столпа, поддерживающего потолок, смотрел на пепельную голову. Звуки входивших людей гулко чекали, потом защелкало эхо о плоский потолок — это начали все рассаживаться на сиденьях-перевертышах. Вдруг стало в ящике тесно, люди кучно копошились между рядами сидений, и Симонов болезненно затревожился: все его тайные помыслы, всё то, что он привык сам для себя называть своей душой, утянулось куда -то, угасло в пестром людском позорище. Всегда чувствовал, что в душе у него есть что -то — домашнее, тайное, а теперь не стало ничего, кроме внутреннего бессилия.

В пяти метрах от себя Симонов увидел табельщицу, тоже присланную сюда по приказу парторга. Табельщица была тяжелая, полная женщина, в ярко красной кофте и с полными, ярко накрашенными губами. То, что давило на него какой-то неопределенной силой, точно подернуло незримою рябью и ее черты, неявственно изменив их. По взгляду ее Симонов понял, что она не видит и ли не узнает его, и приготовился сидеть, не шевелясь, на своем сиденье.

Трибуна, как театральная помост, была вплотную прижата к красной завесе. Человек в очках встал и робковатым голосом начал читать с бумаг лекцию. Лица у других людей, сидевших на трибуне, сделались привычно равнодушными. Сидящие внизу на стульях-перевертышах с послушным равнодушием опустили головы; начали листать какие-то бумаги и перешептываться. Уже минут через пятнадцать Симонов почувствовал, что давление извне, которое гнело его до этого, стало ослабевать, он услышал шепоты и стал разглядывать головы сидящих впереди и профили обок. Потом он положил потные руки на колени и, глядя на них, снова впал в круговращение своих будничных мыслей.

Прямо перед ним над спинками сидений торчали две головы: одна толстошея, коротко остриженная и заботливо причесанная, вторая — лохматая: шеи и ушей совсем не видно... Головы то и дело пригибались друг к другу, шепот слышался довольно громкий.

Это были два инженера, оба чуть постарше Симонова. Если бы он мог перенестись часа на два назад и вместе с этими людьми прожить затем заново эти два часа, то стал бы свидетелем начала разговора; коротко остриженный, румяный, уверенный в себе молодой человек, происходивший из военной семьи и приехавший сюда на своем автомобиле, был начальником отдела, а лохматый, занимавшийся, в основном, составлением докладов – его подчиненным. Лохмач, взятый в машину из милости, всю дорогу развлекал начальника поддельной горячностью. Тот отвечал с дружественной снисходительностью, ему приятно была тонкая, уважительная лесть, скрывавшаяся под простоватым энтузиазмом подчиненного. Целую минуту, заглядывая в не отрывающиеся от асфальта за лобовым стеклом кабины глаза начальника, сослуживец принятыми в подобных разговорах словами осуждал социализм. Утих он, только когда во все стекло вырос райком. Выруливая к стоянке, начальник, улыбаясь глазами, спросил лохмача почти равнодушно:

— Ты, значит, против социализма? Что же ты предлагаешь взамен? А то критиковать мы все умеем...

— Жизнь! — нагнулся с твердым кивком к нему подчиненный. — Социализм – это смерть, а я предлагаю — просто жизнь!

— А что такое жизнь? — кратко спросил начальник и, заглушив двигатель, взялся за дверную ручку.

— Ну, по одному мнению, жизнь — это способ существования белковых тел, а по моему... по другому, — тут же поправился лохмач, — мнению, — и начал цитировать слова из недавно прочитанной им, запрещенной книги.

Теперь, от нечего делать, они снова продолжали свой разговор. Владелец автомобиля мягко кивал, а его сослуживец, пренебрежительно поглядывая на лектора, ссылающегося каждые пять минут на том и страницу полного собрания сочинений Ленина, шептал все громче и громче. Что именно говорили они – этого Симонов не мог разобрать.

Кто-то впереди инженеров обернулся и выразительно глянул на несоблюдающих правила.

— Ты не знаешь, почему такую вывесили? — намеренно громко спросил лохматый.

Его начальник поднял голову, оба смотрели молча, и тут Симонов, почти уперший от скуки подбородок в спинку их сиденья, внезапно догадался, что говорят они о гипсовой голове, и оба сейчас смотрят на нее. Он поразился этой догадке, хотя ничего неожиданного в самой мысли не было, он и сам все время на голову поглядывал, сравнивая ее с луной. Он снова почувствовал в себе ту назойливую, давящую тревогу, которая была в нем перед лекцией, когда сидел он одиноко в толпе.

— ...произошли погоны... — перестав дышать, уловил он, — сначала были наплечники железные, теперь вместо них носят погоны...

Начальник кивнул. Лохматый зашептал еще тише:

— А эта — откуда? Видишь, шея у нее ровная, отрубленная... красное, как кровь, течет...

Симонов, отстраняясь от шепота, втихую переменял позу. «А вот сейчас как крикнуть на них, — озлился он, — как, мол, вы смеете, а?»

О подслушанном разговоре он никому не сказал, вспоминал о нем редко и как-то недоверчиво, словно о придумавшемся. Смысл разговора про погоны и связь слов лохматого про железные наплечники с его же словами про пепельно-гипсовую, плоскую голову на кровавой завесе вообще не были поняты Симоновым. Но за былось это происшествие не просто так — оно заменилось новым, выросшим в душе Симонова образом. «Голова-то, действительно, мертвая!» — повторил он сам про себя, уже, как свое, когда в следующий раз вошел в райкомовский зал. Ему даже показалось, что голова опустилась ниже, сохлась, как те головы-трофеи, которые засушивали индейцы в прочитанных в детстве книжках про Чингачгука. Даже багровая завеса тоже будто покоробилась, закуржавела от давнишней крови. И он пристально, выпытывающе рассматривал свое открытие, глядел на голову – серую, печальную, с мертвецкими

впадинами щек. «Кто же это сделал?» — само собою спросилось у него, спросилось спокойно, неназойливо, и важным пока был не ответ, а сам вопрос. Какой -то зоркий, странный смысл всего происходящего в зале выглянул перед Симоновым, он почувствовал странную, будто приросшую к душе тяжесть непонятого действия.

Не сокрыт ли даже и в самом обличии социализма обман, не навязывается ли он хитро, чтобы хоть на сколько -нибудь отвлечь усилия ума от подлинной причины того ада, которым неприметно обрастает земля?

Еще до той лекции слышал он про Гризодубову. Было это перед выборами; на коленях у Симонова, как и у других председателей, секретарей и членов избирательных комиссий, лежали пакеты с чистыми бланками протоколов. Сердитый старичок с волосами цвета золы, прежде выдававший пакеты за столом в коридоре, теперь добродушно сутулился на трибуне и, как взрослый детям, ласково командовал: «всем взять карандаши!» — те тоже лежали наготове в пакетах.

Должны были все секретари и члены под диктовку старичка черновой протокол заполнить карандашом, а после выборов всё переписать с него в беловую бумагу чернилами, только фамилию другую, фактическую, проставить. Пока же старичок, с той целью, чтобы фамилия и имя -отчество депутата в правильном падеже были проставлены, употреблял для примера фамилию: Гризодубова.

— Эта фамилия звучная, мне она знакома еще со школы! — объяснил он, с каждой минутой все больше преображаясь на трибуне. В новеньком черном костюме, как манекен, широкий; и все у него оказалось как-то по манекенному новым — и голос, и новые, черные брови, и плотные, точно бантик из черного бархата, усы, наклеенные под носом. Симонов даже удивился.

Посредине диктовки старичок снова сделал отвлечение, и не без шутки:

— Однажды я вот так же, как вам сегодня, показывал, как заполнять протоколы. Выборы идут, мы сидим в райисполкоме, ждем протоколов. И из одной, я не назову, какой именно, окружной комиссии, к нам привозят протоколы — а в них вместо фактической фамилии стоит моя — Гри-зо-ду-бо-ва!

Старичок выговорил ее по слогам, торжествующе.

Из зала в ответ, поняв шутку, засмеялись.

— Так смотрите же, не пишите мне Гризодубову! Отправим переделывать протоколы!.. а уже время-то будет по-озднее... — шутливо, будто сказку детям рассказывая, погрозил старичок с трибуны. При этом плоские, плотные усы у него под носом от усмешки даже не сморщились.

Симонову с самого начала диктовки, а, может, еще и оттого, что старичок накричал на него из-за своего стола еще в коридоре, когда он забыл взять пакет, не понравилась эта фамилия. И, выслушав рассказ старичка, он удивился: как это могла масса людей проголосовать за то, чего нет? От рассказа фамилия не обрела лица, наоборот, стала еще незнакомее.

«Это всё и сделала она, Гризодубова!» — вдруг спокойно и ясно подумалось ему, когда он снова начал разглядывать обрубок шеи у гипсовой головы Ленина. А потом среди мысли этой кольнул его еще более зоркий смысл — и он медленно, как бы со стороны, начал всматриваться в обновившегося на трибуне старичка. Не иначе, как тот хорошо знаком с Гризодубовой, а здесь, под мертвой головой, притворяется, сочиняет что -то про свое детство и учебу в школе...

Какая-то сила, как пар, двигала внутри Симонова поршни страстей и переменяла в нем образы действительности, но он не чувствовал этой скрытой работы, а только податливо, легко удивлялся, что такое ему в душу приходит само.

Долго он еще со свободным, как казалось ему, любопытством созерцал внутри себя эту фамилию – словно в городе, задрвав голову перед иноземной вывеской, стоял: что же там, за дверями? И представилось ему, что там, за дверями — прилавок, а за прилавком стоит она, Гризодубова, но будто бы не в своем настоящем виде, а в образе восьмилетней девочки Светы, с которой Володя Симонов когда-то учился в начальной школе. Света училась хорошо, получала одни пятерки – и за речистые ответы у доски, и за внимательное молчание с первой парты, когда учительница объясняла новую тему.

«Сейчас войду, — стоял перед мысленной вывеской Симонов, — а Гризодубова там пишет, заполняет свои бумаги, и бумаги все аккуратные, чистые... А далеко-далеко от вывески, тут вот, в зале, мы сидим, и с нами вот что происходит... да -а-а...»

Все внимание Симонова сосредоточилось на этом образе, он даже перестал записывать за старичком, не переставая, однако, следить за его плотными усами. Образ Гризодубовой скользил перед ним, поворачиваясь, переливался иллюзорными изменениями смысла, словно мыльный пузырь, и летел в призрачную пустоту все дальше и дальше, и лопнул... Симонов оказался во внутренней темноте, лишь звучало в нем, билось бессмысленно, но не как слово, а комком слипшихся звуков: гризодубовагризодубовагризодубовабубубубуз!.. и из этой пустоты, цепляясь за звуки, вяло тянулась в нем, словно обрывок веревки, мысль, что сильн о удивляться можно чему-нибудь необычному, а тому, что всё это сделала Гризодубова — чему же здесь удивляться? Всё это давным-давно понятно. Нет ничего странного в том, что гипсовая голова эта живет, живет в своем мире, сером, плоском... И из него, может, щупает нас своими плоскими, двухмерными лучами, в нем дышит серым теплом пепельных впадин щек... вот почему я ее узнал!

Когда председатели, секретари и просто члены избирательных комиссий с ерзаньем и стуком начали подниматься с сидений, яркие, пристальные глаза Симонова были полны насочившимся смехом — как тогда, когда Иван Хитров говорил ему, что основа у него есть. Вечером он зашел в кочегарку, взял ключи у грустного пенсионера, вывел стоявший здесь же, на работе, мотоцикл, и долго, уже в осенних сумерках, гонял за городом от деревни к деревне.

Мать переживала, слушая, как сын опровергает советскую власть и ругает начальство, снова стала звать его в Корстов, говоря: «Жениться тебе надо, Вовка, заботы у тебя нет». Несколько стихотворений Симонова уже было напечатано в корстовской газете, но затем писатели из Ярославля, точно дознавшись, какими словами их заочно обкладывает автор из Рыбинска, перестали отвечать на посылки новых тетрадок.

А он, уже договорившийся заявление на прием в партию подавать, вдруг, по выражению парторга Уткина, сорвал очередную политинформацию, разругался с начальником: кому, мол, они, ваши политинформации, нужны? — да еще и написал об этом заметку в стенгазету. Заметку не пропустили, и Симонов вспыхнул таким гневом, что ему ударило в поясницу; от нервов спина болит — жаловался он потом матери. И так переживал, уйдя в себя, так ожесточенно внутренне спорил с парторгом, что чуть не попал под самосвал, возвращаясь вечером с работы. Едва успел отшатнуться: пролетел перед носом железный, стылый борт, мелькнул грязный задник кузова с красным, мертвым огоньком – что-то из райкомовского зала напомнил тот огонек Симонову, но, не дойдя до ума, погас. И долго не мог забыть он, как сказал ему нахально на прощание, подписывая «бегунок», Уткин: «В другом месте тебе бы за такое голову отвернули!..»

Когда он уволился из мастерской и устроился на работу слесарем в комбинат бытового обслуживания, Маша не могла нарадоваться. Как же, сын домой вернулся. «Не писал бы ты стишков своих, — стала она его уговаривать, — все спят, а ты сидишь, голову ломаешь... стишки ведь дело бесполезное. Да и чтение твое – тоже: что в нем проку?»

Она часто ходила теперь на соседнюю улицу, где жила старушка Соня Кленова, они были родом из одной и той же заволжской деревни и, когда Маша вышла замуж во второй раз, она Соне первой рассказала о новом своем муже, Коле-боге. «Ничего, что он такой, главное, что не блядует». Теперь Маша хвалила Соне сына Вовку: дом открасил, как картинку, забор новый поставил, не гуляет, не пьет, стишки пишет, и за эти стишки сам Иван Хитров вызывал его в Ярославль, хорошее письмо прислал. Соня Кленова слушала и думала про себя: «Вот ведь, как бывает, — отец подыми да брось, а дети задались хорошие». И ставила Володю Симонова в пример своим детям, когда те приезжали навестить ее из Ярославля. «А старшего-то, который застрелился, Маше так жалко, так жалко», — всегда прибавляла она.

Однажды Маша повстречала Соню Кленову на улице и сказала:

— Одна я теперь живу, сын в больнице. Сын Феди Фонарева, покойника, так избил его, так избил! Да по голове все, изверг! В больнице теперь лежит Вовка.

— Да хоть из-за чего он избил-то его?

— Из-за девчонки, из-за чего еще? Ведь еще месяца три назад случилось, а голова-то стала болеть вот только сейчас.

Федя Фонарев, сын которого избил Симонова, был из той же, что и Маша с Соней, заволжской деревни, они обе и на похоронах у него были, на гроб землю кидали.

Маша уговорила Соню, которая раньше у нее не бывала, зайти к ней, показала, как живет.

— Хорошо живешь, — сказала Соня Кленова, — отдыхаешь!

В рамках за стеклами висели на стене у Маши большие фотографии первого мужа и сыновей, похожих на Колю-бога. «Застрелившийся-то — красивый парнище, — подумала Соня Кленова, — а что же самого Коли-бога нет?»

— Ты приходи ко мне, чего тебе одной-то сидеть? — сказала ей на прощание Маша.

— Приходи и ты ко мне! — сказала Соня Кленова, — тебе теперь тоже не по вадно.

Через день Маша пришла к ней. Пили чай, вспоминали деревню. Кленова была на пятнадцать лет старше Маши и помнила тех людей, о которых Маша только слышала.

— И чего ему эти стишки дались? — мягко жаловалась на сына Маша. — Врач, подика, запретит ему эти стишки писать...

— А откуда ты знаешь, что он из-за любви застрелился? — поворачивала на красивого сына Соня Кленова.

Маша отвечала, что сын ей об этом писал в письмах, да и сама она к нему ездила, навещала, кой о чем догадывалась.

А потом Маша перестала приходить в гости. Соня Кленова считала, что не видала ее уже два месяца, подумала: «Наверное, в Бежецк, к дочке уехала».

Встретились на улице. Начали говорить.

— Где же у тебя сын-то? — спросила Соня Кленова.

— В Ярославле, — сказала Маша, — Иван Хитров его вызвал...

А сама опустила голову и чай к себе пить не позвала. Она с осени уже два раза ходила в больницу, где брала направление в областной психиатрический диспансер, и сама отвозила туда сына. Скоро его должны были после лечения выписать.

Маша жалела своего старшего и купила ему к приезду новую рубашку. А он, вернувшись, то и дело начинал спорить по пустякам, ругаться, а потом весь краснел, скалился и грозился завалить большую яму у Корстова телами начальников. Маше во время таких приступов становилось страшно. Она молилась Богу и надеялась, что это у сына как-нибудь само пройдет.

Зимним утром, в выходной Симонов вышел из калитки с мешком бутылок и стеклянных банок: чего им без толку валяться, надо сдать. На улице хрустко, морозно,

день будто вырублен синими, мглистыми тенями в массивах радостного света. Следы в свежем снегу – оттого, что мешок на спину давит – печатаются глубокими и красивыми. Оглянувшись на них и раз, и второй, он подумал, что хоть и идет он в магазин из-за пустяковины, а все-таки и это тоже – жизнь, а раз жизнь, то со временем откроется, наверное, какой-то новый, пока подспудный смысл этого его прозаического похода в магазин, который, наверняка, снова закрыт, и даже приколоты записка на дверях: «Нет тары». «А если сказать о себе так, — фантазировал он, — в двадцатом веке один молодой человек вышел разыскивать счастье... И вот идет он бутылки с давать, а никто и не знает, что цель-то у него иная...»

И другие лирические мысли пестрым роем налетали ему в душу и, отзываясь им, сдержанно почекивало стылое стекло за спиной и деловито, даже чуть сварливо поскрипывал плотный, толстый снег под ногами, тоже участник этого разговора.

Симонов весело здоровался со знакомыми, еще издали крича им: «Привет!» Уже на подходе к магазину встретился ему Фонарев: в полушубке, с деревянным ящиком за спиной шел тот на рыбалку. Работали они вместе в комбинате и давно уже замирились после той драки, что произошла на танцах осенью, в зимнем соборе, переделанном в дом культуры. Девчонки неохотно шли танцевать с Коли-бога сыном, и он знал это, и когда они с напарником разбили пару, Тamarочка из райпо, которую Владимир хотел было взять за руку, отдернулась к подходившему напересечку Фонареву. Владимир вызвал Фонарева из собора за угол, в тень, к дощатой уборной и, напав, крепко охватил, чтобы бросить на подмороженную грязь. Остроносый Фонарев был помельче Симонова, но вертлявец: натужно выгнувшись, он вывернулся. Молодежь стекалась посмотреть. Фонарев, разошедшись, сбил противника с ног и стал пинать под бока. Весь мир точно куда провалился, и Симонов, не узнавая себя, вдруг тонким, жалобным голосом выкрикнул: «Добивай меня!» После этого он целую неделю ходил вялый, матери рассказал о драке, но на Фонарева не пожаловался. Только повторил с укором: «Не хотят со мной девчонки танцевать!» — а недоговоренные слова так и остались лежать на его языке, словно раскаленный уголь. Мать, уже стерпевшаяся с жизнью, не понимала сыновнего стыда, но сильно жалела его, и от этого ей придумалось, что «случилось с ним это» от побоев.

Фонарев был не то что краше Симонова, но куда приятней на лицо — а вот покойный отец его был и вправду красавец: когда он с фронта вернулся по ранению в начале войны, все вдовы и девки в заволжских деревнях были его.

Поздоровавшись с Фонаревым, Владимир вновь ощутил знакомую обиду. «Вот если бы когда-нибудь люди смогли, — думал он, — как в кино, увидеть меня, идущего сдавать бутылки. И эти люди, — ну, пусть те, что будут жить после моей смерти, — стали бы глядеть на мое сдержанное, опущенное вниз лицо, стали бы думать: вот, идет человек...» Незабывшаяся досада осветила изнутри это рассуждение живым, сердечным чувством. Магазин был закрыт, на крыльце — ни следочка, и записка, та самая, висела на дверях. Симонов не стал чертыхаться, лишь легко удивился, что так и вышло, как он задумал, а значит — не для того, чтобы бутылки сдать, он с мешком столько протащился. А все на него глядели и, конечно, думали: «Не на помойке ли ты их насобирав, помирушник, Коли-бога сын?»

Быстрее, все быстрее пошел он домой. То, о чем он думал последнее время, все сплотилось в душе: зорко, длинно, будто захватывая навсегда, взглядывал он на роскошные снежные воланы и шапки, увесившие деревянные заборы. Старое, резное крыльцо со спицей вдруг всё так и занялось перед ним инейным, беззвучным огнем — и так же внезапно выросли на глазах, желая броситься в душу, десятки других уличных предметов. Все они точно взвешивались в мысленном воздухе, и душа, мгновенно впуская их, тоже нарастала, увеличивалась. В нее вдруг ударила вся полнота внешнего движения — и Симонову захотелось легко побежать напересечку какой-то толпе, — наверное, огромной, городской, — и стрелять, колоть ее, пока не добежишь до смерти, как до уютной воронки.

Этот образ был его недавним, тайным знакомцем — но уже томил: никогда он его не забывал, носил у сердца, как ладанку несчастья и уныния. Однако, сегодня этот образ разгорелся не от отчаяния или неудачи — сегодня он горел не темно, а радужно.

С тем же легким настроением, с каким вышел Симонов с мешком бутылок, возвращался он к рябинке у калитки: бежать, бежать — а потом размахнуться и всадить штык! — и воображалось уже ему подобие той картины, где Ленин на трибуне, а сверху — светлы и зарева, и толпа — старинная, еще из девятнадцатого века; и он со щелчком всаживает штык в эту толпу... тут воображаемый холст лопнул и из пустоты черной раны вдруг повалились на него, — тут уж Симонов не выдержал и засмеялся, — тараканы... тараканы... тараканы... Глядь — уже и нет их: люди, флаги, как на Красном съезде, и еще, и еще, — все новые и новые предметы валяются из черного жерла... Ты уже и сам будто вывалился из жерла, Володя! Какая-то мысленная тень отхватила тебя от мира и иссасывает твою душу, и никак не выскажешь: что такое она?.. Почему чуть ли не десять лет сознательной жизни ты во всех спорах-разговорах, во всех своих мечтах-стишках любовался тем раем, в который теперь всаживаешь штык? «Нико му не признаюсь в этом — страшно! — так ты слабо сопротивляешься сам себе, — ведь это же злодейство, разбой!» Но вся душа твоя уже дышит по-новому: жалят душу воспоминания, тут же сливаясь с роем планов, ты уже видишь воочию, как воплотишь их в жизнь, каждая мелочь встает, как живая: Фонарев, злобно крикнувший: «Быстро — давай отсюда! Убью!», парторг Уткин: ореховый галстук, наглые, словно две сливы, глаза... Может, это он нажаловался Ивану Хитрову?.. Почему тот до сих пор не отвечает, не одобряет стихов, сам же ведь сказал, что основа есть!

Плечи Симонова заходили под мешком, задергались от прихлынувшей ярости: штыком!..штыком!.. штыком!.. — волновался он все сильнее, и от этого шел все быстрее. Будто сами стылые свежие пространства, веселые скрипы снега, важные снеговые шапки, и приземистые, в снегу, деревья вошли в его душу и, переполнив, взвесили, вознесли ее к небу.

Он почти подбежал к дому. Бросив мешок с бутылками в сарайку, расстегнул ошейник у собаки и выпустил ее побегать. Крикнув, хлопнув себя по коленям, долго играл с нею, смотрел, как она прыгает, припадает на передние лапы, подымая искрящуюся снежную пыль... Вечером весело, много говорил с матерью, а когда осела матовая вечерняя синева во дворе, сочинил стихи про великана с рыжей луной вместо голо вы.

Он никогда не был таким одержимым, как в те глухие дни конца зимы, когда последние метели наглухо завалили Корстов сугробами и стало заметно, как искривились причудливо и постарели на улицах знакомые, костлявые березы и тополя. Среди сияющей белизны и ясности мира все больней и раздражительней чернели в нем те мысли, что и прежде иногда всплывали — и даже мать припомнила потом, и Соне Кленовой рассказала, что раза два или больше сказал громко Володя, ни к кому вроде не обращаясь, что кто -то, мол, сошел с какой-то дороги. За давностью лет она уже и забыла, что сын когда -то произносил эти слова не с утвердительной интонацией, а вопрошая — он был в ту пору мальчишкой, учился во втором классе и, по школьной привычке душевно подчиняться более сильному, восхищался мальчиком постарше, четвероклассником Владиком, восхищался и робел перед ним.

У Владика были тонкие, капризные черты лица, голос медленный, снисходительный. В перемены он не бегал, как все, а читал учебник. На Вовку Симонова он и внимания не обращал. И вот как-то учительница закончила урок объяснением стихотворения: «Мы идем по ленинской дороге!» Звонок — все бросились в коридор. Владик один сидел за своей партией и читал учебник, Симонов сидел через проход, напротив. Вдруг Владик нагнулся к нему и с взрослой, снисходительной улыбкой сказал: «Ха, давно мы уже сошли с ленинской дороги!»

Снисходительность относилась к учительнице. Ликуя, что Владик к нему обратился так серьезно, и одновременно стараясь не выдать этого внутреннего ликования, Володя спросил: «Куда же мы сошли?» «В канаву!» — махнул рукой Владик.

Конечно, он говорил не свои, а услышанные от родителей слова. Но весь день от гордости, что Владик сам, первый обратился к нему, Симонов ходил, как в счастливом сне. Придя из школы, сразу же спросил у матери: правда, ли, что мы уже сошли в канаву? Мать велела никому такое не говорить: «а то меня посадят!» Позднее ему и самому стало жутко, и долго еще детскую душу обуревали растерянность, страх и смущение. Он рисовал себе образы обоих высказываний: ленинская дорога представлялась ему то ровной лентой, то серой пустыней, а канава — каким-то извилистым, длинным, бесконечным оврагом, куда он спускался по обрывистой осыпи и видел, что там, дальше — провал, бездна...

Бутылки ему так и не удалось сдать — ни в субботу, ни на следующей неделе; мешок в магазин отвезла сама Маша, на санках. Осталась она опять в доме одна. И соседи уже все знали, и по народу говорили, что сын у нее, как весна, так и с ума сходит. Но то, что произошло с ним в марте, долго еще потом таилось в секрете, знали об этом только соседи, милиция да подруга Маши, Соня Кленова. Сам же Симонов на вопрос врача, Якова Анатольевича, как он провел тот день, шестого марта, ответил: «Я ушел с работы, я всё бутылки собирался сдавать. До этого ходил — тары не было».

Яков Анатольевич, молодой, простолицый еврей с тяжелыми, синеватыми белками глаз, уже было взявшийся за авторучку, посмотрел на Симонова. Тот сидел перед ним в черном, линялом халате, с уже отросшими жесткими волосами, и хитровато щурился. Вспомнил еще, что, уходя с работы, он-де так и намекнул Фонареву: «Я пойду бутылки сдавать!» А Фонарев сделал вид, будто не расслышал.

— И что, дальше ничего не помнишь? — спросил, опуская глаза, Яков Анатольевич.

Симонов медленно посмотрел на врача, лицо его раздалось откровенно дурашливой улыбкой подопытного человека, и он добавил:

— А попал в Москву, в Кремль...

Врач скучно и деловито записывал.

Да и кому бы он мог открыться тогда, что шестого марта собрался в Москву, убивать генерального секретаря ЦК КПСС! Для того и ушел с работы пораньше — не бутылки чтоб сдать, а чтоб успеть на автобус до железнодорожной станции: там оставалось только сесть в поезд, и утром, к семи утра, уже будешь на месте.

Задувал теплый, с редкими, сырыми снежинками ветер. Облачное небо было влажным и серым, как овечья шерсть, парок вис над тальми сугробами у заборов. Пока Симонов шел через весь Корстов домой, воздух быстро отуманился мглой, но очертания остроконечных заборных досок были еще хорошо различимы. И вдруг в мире что-то случилось — будто погас в нем свет и сама улица точно дернулась из-под ног, и сквозь очертания, углы и плоскости мира явственно потекли другие, четкие, более резкие линии. Это длилось миг — и еще был миг, когда симоновская мысль сверкнула, борясь с нахлынувшей на нее декорацией — а потом вновь все стало привычным, словно увернули фитиль у керосиновой лампы — не в меру разгоревшейся, закачавшей по углам жутковатые тени. У дома Симонов остановился и ходил нетерпеливо, будто кого-то ожидая — все оборачивался, посматривая в разные стороны, ковырял снег ботинком. И тут увидел, как из переулка, с Волги, вывернул человек в черном пальто -демисезоне, в кепке и хромовых сапогах.

Узнающе, тревожно вперился в него Симонов — даже отошел от калитки, спрятался за огород под крышу колодезного сруба, и все пытался вспомнить, где он встречал этого человека. Сорвавшись с ведра, громко чвкнула капля в глубине колодца. Загрохали

хромовые сапоги на крылечке — пришедший обил с них снег, вошел в сени — и тут Симонов вдруг узнал его: это был человек, фамилию которого он носил, первый муж Маши, убитый на войне.

Симонов все-таки ждал, что человек этот пройдет мимо их калитки, и когда понял, что — нет, не минует, войдет — растерялся. Видимо, опять что-то переменялось в окружающем мире, в этом весеннем снеге, в сырых темных досках и бревнах, в еще медливших зажечься окнах, в близком, распушем от сырости небе. Бессмысленно, мучаясь, как в незнакомом месте, ходил Симонов в родном дворе. Наконец, лицо его приняло виноватое и смирившееся выражение. И он нарочно долго, со стуком потопал, обивая от снега ботинки, отворил дверь в сени.

Мать сидела на кухне, он снял телогрейку, разулся, прошел в комнату и, стараясь все время быть спиной к человеку, чью фамилию он носил, переделся. Сел на диван, отвернулся, кой-как крепясь. Тот сидит за столом — перед ним тарелки, хлеб: ест картошку с капустой, как ни в чем не бывало.

Мать вошла, спросила:

— Ты чего так рано с работы пришел?

— Я — уезжаю — в Москву! — сказал он. И вскочил, не выдержав:

— Когда я приеду из Москвы... — тут он засмеялся длинно, значительно, с угрозой, — мне приготовь отдельную квартиру... Напиши заявление, пусть дают...

Мать смотрела, слушала.

Он, наступая на нее, проговорил так минуты три, потом, утихая, добавил:

— Мне квартира после поездки будет отдельная нужна. Здесь у тебя тесно стало. А квартиру тебе, не бойся, дадут! У начальства отымать будут, а нам давать!

— Бог ты мой! — сказала мать и ушла в кухню.

Сын ее был мужчина плотный, широкоплечий, с высокой грудью. Когда он начинал заговариваться, здоровье его телесное становилось еще виднее. Она стояла в кухне без света, ждала, что будет дальше, боялась, но не хотела идти к соседям, звонить в милицию.

За занавеской дверной зажегся свет. Чего-то бубнит, двигает стулом. Может, само на этот раз у него пройдет? Ждала-ждала, но не выдержала:

— Вовка, иди, ешь, чего ты там шарушишь?

Вошла, а он стоит на стуле и увеличенную фотографию цветную, на которой она стоит молодая вместе с первым мужем, плечо о плечо — сорвал со стены, бросил на пол. И как закричит:

— Ты что это мужиков к себе в дом пускаешь?!

А лицо испуганно-недоуменное и злое, и что-то прижатое во всех движениях и во взгляде — как будто в теле его сломана сила.

— Вовка, сладу с тобой нет! Что же ты делаешь -то?

Посмотрел на нее такими глазами, что Маша снова ушла в кухню. Все -таки еще решила потерпеть, не звонить в милицию. Ведь бывало и раньше, что найдет на него это, да тут же и отвалит. Успокоится, снова станет ласковый...

Она ушла, а он остался лицом к лицу с этим, вышедшим от Волги, из мглистого переулка — бледным, нагловатым, с блуждающими в улыбке глазами. Был пришедший помоложе Симонова, да и слабее, но было в нем что-то давящее, отягощающее переменчивую симоновскую волю. Симонов хотел ударить его по лицу — не вышло: тот отступил к стене и ухмыльнулся так знающе, что рука у Владимира не поднялась, будто гиря к ней была привязана. И только после того, как надел он пальто, кепку набекрень приладил и за дверную ручку взялся, Симонов осмелился выкрикнуть:

— А ну-ка, уходи отсюда!

И, чтобы сорвать с первого мужа матери нахальный, всезнающий вид, чтобы хоть какую-то избаву его, симоновская, воля получила от этого нароста — открылся матери, зачем он едет в Москву. Сказал, что после убийства Брежнева все будет по-иному. Этим он одновременно хотел и скользкому молодцу сказать, что не держит свой замысел в

утайке, не боится. И тот вроде даже стал подлизываться и набиваться в помощники. Но Симонов его не слушал.

Вышли в сени. Симонов впервые с болью почувствовал, что дел о его может сорваться. Прислонившись к стене, устало закурил. Стена мягко дернулась, затолкала его в спину, как в тамбуре вагона — и он сквозь навалившуюся усталость понял, что не заметил, как прошло время, и что он уже в московском поезде. Напротив, у другой стены, в темноте угадывался не то человек, не то какая-то серая, зыблущаяся кубышка. Они быстро и горячо спорили, но слова симоновского собеседника — вялого, толстого коротышки — доносились совсем не оттуда, где была его голова, а словно бы врвались из грохота колес в открытое тамбурное оконце, и надо было, чтоб их понять, приставлять их, приживлять к голове.

С огромным, болезненным усилием попытался осознать Симонов, почему этот незнакомый человек едет с ним в Москву. И, не веря не только его словам, но и своим мыслям, — тяжелые, не свои руки протянул и начал водить по человекоподобной кубышке, по ее серой, ватной пустоте.

— Эй ты, Гризодубова! — грозно выкрикнул он, и четко вызвались из этой пустоты плечи, потом грудь, вся фигура облеклась линиями. Грохот колес летит в уши и вдруг стихает. Бодренький паренек в пальто-демисезоне, похожий на корстовского соседа, укоряюще хлопает его по плечу: «Да ты не узнаешь меня, что ли, Володя? Погляди — Москва!» И ногой ударяет в дверь. И с этим ударом все звуки ж жизни стихают. Темная, глухая, пустынная Москва, давящая бетонным навесом вокзальной платформы. Симонов спускается в нее, как в мучительный, мертвый сон.

Мать слышала, как сын ходил к соседу и начудил там так, что сосед его выгнал. Ждала - ждала — все нет Вовки. Вдруг вошел: глаза блестят, нараспашку, без шапки — и с окровавленной штыковой лопатой в руке:

— Мама, я убил Брежнева!

Она стояла на месте, боясь сказать слово или пошевелиться, только про себя повторяла: «Бог ты мой!»

Сын отошел от нее, бросил на пол лопату, ходил, говорил без остановки про политику. «Я пятком-пятком, — рассказывала Маша через две недели Соне Кленовой, — выпятилась в сени... Бог ты мой, думаю! Что теперь будет? Человека убил! Пошла. Что -то такое лежит у крыльца... Собака наша, Дружок!»

Соня в этом месте всплескивала руками и, приоткрыв рот, качала головой.

— Ну, успокоилась. Позвонила от соседней в милицию. Там ругаются, говорят: «Звоните в больницу! Это дело не наше!» Я им говорю: «Как же не ваше? Вы — власть, приезжайте! А если он человека убьет?..» Всё им рассказала. Ну, приехали, надели на него сумасшедшую рубаху, завязали рукава...

Потом, в назначенный день Маша приехала в Ярославль за сыном. В больнице врач Яков Анатольевич на этот раз разговаривал с ней долго, задавал разные вопросы о родственниках, об отце больного. Когда услышал, что брат у Владимира застрелился в армии, замолчал и внимательно посмотрел на Машу: местная женщина, широкоскулая, вся в веснушках, освещенных бледной, стоячей улыбкой. И тут Маша стала жалобно просить врача, чтобы он запретил сыну писать стихи. «Тот -то у меня не ломал голову над стишками, а какой был умный, ласковый!» — повторяла она.

В кабинет вошел сын, Володя. Выдали все нужные бумаги. Яков Анатольевич выполнил просьбу Маши: строгим голосом наказал Владимиру пока не писать стихов. Мать с сыном, встав у дверей, стали благодарить врача и прощаться.

— Симонов, — вдруг иным, бодрым голосом выкрикнул Яков Анатольевич, — жениться тебе пора, тебе уже двадцать пять лет!

— А кто за меня, такого дурака, пойдет? — тем же искусственно-бравым тоном ответил ему Владимир.

По дороге мать ему рассказала обо всем, что он вытворял в тот вечер, шестого марта. Он извинился перед ней за разорванную фотографию, сказал, что ничего не помнит. Был он вял и спокоен тем искусственным, гнетущим спокойствием, которое дают лекарства. «Разве я не думал, что надо бы убить его? Думал!» — размышлял он про себя, слушая голос матери. И вспоминал, что, действительно, в воображении не раз и прежде готовился к убийству, расстреливал генерального секретаря. «Но что же здесь такого? Почему это обязательно болезнь, а не революция? Ведь и другие люди не так уж редко — кто про себя, а кто и вслух — грозят кому-нибудь убийством. Фонарев вон тоже кричал мне: «Я тебя убью!» Не убил же... все живут так! Отчего же один я сошел с ума?»

В том же году, в ноябре, и по радио сказали, и в газетах написали, что умер Брежнев. Симонов, боясь обнаружить связь между своим безумным покушением и этой смертью, смутно, болезненно забеспокоился, что связь все-таки была. Он по-разному толковал случившееся, а весной снова стал бредить. Маша, правда, успела до того, как это у него опять началось, снять со стены портрет своего застрелившегося сына и убрать подальше из комода его письма о любви — и с той поры всегда так делала, каждую весну. Иной раз Владимир замечал это, спрашивал: «Мама, ты что?» Мать ничего не отвечала, только глядела на него и думала: «Вовка, разве я знала, что ты у меня вырастешь такой?»

Весна... Весна! Хорошо... С работы пришел... Мама, я пойду погуляю! Во дворе курицы услышали скрип двери, всполошились, глядят на меня тревожно. Или думают, что я им корм несу? Кошка пробежала в огород. На петуха глянула опасливо, боится, как бы не долбанул... Как он тебя в лоб-то долбанул, Муська, помнишь? Кис-кис-кис! Убежала...

Хорошо в Корстове жить. Хорошо я сделал, что в Корстов вернулся. Выйдешь из дома, куриц окрикнешь, с кошкой поговоришь. Если плохое настроение, то сорвешь его на них, им выговоришься. После этого и к разговору с людьми готов. Еще на траву, и рябинки у забора поглядишь. Весна... весна! А в Рыбинске этом — ни куриц, ни огорода. Общага вонючая! Вот и несешь весь мусор людям... Как я из-за этих политинформаций-то разругался, Бог ты мой! А тут постепенно в настроение придешь. Кошке или курицам окрики даже полезны — чтобы не избаловались, чтобы чувствовали хозяина. Пойду через весь Корстов до кладбища... Лотерейный-то билет здесь? Здесь! Мать вчера ведь не поверила, что я «Жигули» выиграл. Да мне и самому не верится... Вчера, как узнал из таблицы, что я автомобиль выиграл, сразу пошел гулять. Хорошо. Весна! Мотоцикл у меня есть, теперь еще автомобиль будет. Парторг попросит — подкину... ха-ха! Сосед тоже не поверил, когда выпивали с ним по этому поводу. Я разозлился, но сдержался, сказал ему: я и сам-то еще не могу в это поверить!

Что ж еще вчера было-то? Ах, да — ходил до двенадцати часов по Корстову. Пришел домой, потихоньку, чтобы мать не разбудить, лег. Лежал, спал и не спал, все думал про новые «Жигули». Хотел даже ночью на улицу выйти, прикинуть, где гараж буду строить. Вроде задремал. Вдруг слышу: кричит кто-то: «Иди в кухню, там тебя автомобиль ждет!» Голос грозный, командный, незнакомый. Конечно, послышалось. Вскочил с кровати, до двери в кухню дошел. Она открыта — дошел и увидел: никого нет, послышалось, но пока шел, все этот голос был во мне, будто он и нес меня, с кровати сорвав. У кухонных дверей, однако, исчез, вижу — в кухне темно... Да и разве уместятся «Жигули» в кухне? Как они заедут туда? Может, и голоса никакого в комнате не было? Может, только во мне он крикнул: глухой, машинный, металлический бас, как из пустой цистерны. А что, если вот той же Муське мой голос таким же страшным кажется?

Послышалось. Это из-за того, что много про билет думал. Выиграл я новенький автомобиль, и вот к нему разная чушь и липнет, к новому-то. И рассказать-то о ней — не

знаешь, как. Но зачем так страшно-то — будто это камень или железо крикнуло? Неживой, мертвый... Да разве камень — неживой? Ха-ха! Знаю я все, знаю... я простой рабочий, простой, как говорится, советский человек, но вот выиграл автомобиль, и тут вдруг сразу этот голос!.. Надо терпеть, надо бороться! Вся жизнь — борьба! Такая вот она, современная жизнь. Жизнь на высоких скоростях... Нет, стихов об этом не напишешь. Надо об этом помалкивать.

Легко, хорошо. Такой весны я уже давно не видал. Цветет все, цвет знобкий, какой -то внутренний... Будто это всё — не черемухи и рябины, а души. Скоро ли мне «Жигули» выдадут? Наверное, еще в мае успею на рыбалку съездить?.. Уеду куда-нибудь километров за пятнадцать, буду с деревьями разговаривать... В мае ведь — самый клев! А потом стихи буду писать... Деревья шепчутся, склоняясь, меня лелея у реки... Слабовато? Не очень правдиво? Да, было ведь не так... было почти, как сегодня. Наверное, в поэзии и должно быть не как в жизни. Во всех стихах, у всех поэтов, вообще -то, такое чувствуется. Ну, можно бы было сказать и иначе, вот так, к примеру: позавчера поехал на мотоцикле на рыбалку. Несся по сосновому, красному от закатных лучей лесу. На Вороновке — тишина. Только поплавок о воду шлепается. Тишь, и вдруг один окурек вильнул у берега, будто что-то сказал или улыбнулся. Потом другой... И тихо, будто улыбаясь, играют в речке окуньки...

А шепот-то, шепот! Кто-то смеется тихонько... А, это у деревьев проре зались лица! Большие, зеленые лица. Сосны остроносые такие: как головы зеленые, окуневые, из земли торчат. Это вам не мертвые, не пыльные, гипсовые эти головы! Клонятся, клонятся сосенки к речке, будто подговаривают ее на что-то... остаться бы там, с ними... А «Жигули» тогда кому? Нет, с «Жигулями»-то труднее жить... Надо бороться. Современность, она и есть современность. Надо быть с ней в дружбе. А у деревьев на лицах — морщины глубокие, на щеках — красные пятна... Или это от заката такие пятна, кора так отсвечивает? Надо держаться, надо ближе к современности быть. Надо не поддаваться... Стой, борись.

Стой, борись, на кладбище зайди, посмотри, сколько простых людей умерло. Да, непроста жизнь. Надо прожить ее на современной скорости. Иду вот сейчас по кладбищу, а сам бодрый, веселый. Но шапку-то надо снять! Сколько людей умирает каждый год. Зимние могилы рыжие, провалились. Так и кажется, что сейчас гроб увидишь. Деревья старые склонялись... Деревья? Рука какая-то — эту вижу... Опять, что ли, я заблудился? Духота эта зеленая отовсюду... словно зеленую, мутную лампу под абажуром включили... Рука-то еще машет? Вперед — не оглядываться! Да, рука голая, и машет, зовет. Конечно, она не настоящая и совсем не из могилы высунулась, а так, словно бы из дыма зеленого какого-то — но машет, как настоящая! Завтра надо будет показать начальнику мой лотерейный билет. Хватит ждать. Я простой рабочий человек, все в порядке, раз положено по закону — отдай. Интересно, а это рука тоже рабочего человека? Конечно, какие могут быть сомнения! Можно бы найти время — и об этой простой руке даже стихи написать... а сколько времени-то? Ого, уже восемь часов. Что ты делаешь вечером на кладбище, Володя? Иди к людям, в дом культуры, в собор, на танцы!..

Ни о чем нельзя написать, ни о чем нельзя рассказать. Может, автомобиль получу, так будет лучше. И писать стихи будет легче. Если хорошо жить, если всю правду говорить... ведь так много еще зла в нашей жизни, так много горя. А мы молчим. А народ опутан... Народ — деревья лелеют: стоят сверху и лелеют... а мне рука машет из могилы, зовет. Меня, Симонова, простого советского человека. Я ведь сразу понял, что голова эта — живая! Поеду на «Жигулях», а мне рука будет махать. Кто я? Почему мне — столько всего? Нет, всё так должно и быть — за их неудачи, за голод — мне «Жигули». Выиграл! Надо держаться. Раньше, без техники, в колхозах еще трудней было жить... да что такое «раньше»? Даже мать моя хватила голода, застала... Успокойся, Володя, успокойся, а то ведь снова в больницу посадят. И «Жигули» тогда не получишь, уплывут в другие руки. Эх, дурак ты, дурак! Так прямо и скажи себе: «Я — дурак!» Но — держись, держись!

Успокойся, не торопись, иди прямо по бульвару, не петляй. Вот и дом. Ложись -ка спать, утро вечера мудренее. Попробуй рассказать про себя всё связно, по порядку, как тебя учил Яков Анатольевич. Без всяких стихов, без украшений, просто голые факты.

Мама, я есть ничего не хочу, я буду спать. Что -то не выспался сегодня... Может, будут «Жигули» задерживать — а я не выдержу, разругаюсь, опять посадят в больницу... Нет, я буду держаться. Хотя у меня и история болезни уже вся готова для Якова Анатольевича... Вот, Яков Анатольевич, слушайте: взяли меня в армию, отслужил я, потом взяли младшего брата. Он лег на посту в снег, упер в себя автомат — выхватило у него всю грудь, и еще за спиной угол у барака исцеленило...

Он лежал на кровати, и каждая минута, как муравейник, кипела в нем бесчисленными мыслями. Каждая минута лихорадочно иссасывала его все -го: на смену одному муравейнику полз, грызя его, новый; бесчисленные мысли охватывали его ум, как огонь, он горел и никак не мог сгореть в их темном пламени. А по отдельности, если разобраться, все мысли были вроде обычными, даже скучными. То искал он и не находил способа, как ему лучше закрасить вмятину на «Жигулях». Автомобиль будто бы уже стоял у него во дворе, и он ругал себя, что поцарапал крыло, и одновременно ходил в магазин, спрашивал эмали, но ни нужной эмали, ни шпаклевки, ни растворителя в магазине не было. Тогда он начинал жаловаться, писал в редакции письма, в которых рассказывал, как трудно и бедно жила в войну его мать, а он, простой рабочий, выиграл автомобиль, и как теперь ничего нигде не найдешь. Потом он спохватывался, что вмятину, на худой конец, можно заделать и обычной масляной краской, что стоит у матери в подполье — банку эту он когда-то ведь сам привез из Рыбинска...

Ум его прокручивался на месте, как забуксовавшее колесо. Вроде спишь, а вроде нет. Очнешься — глаза открытые. Значит, не спал, а так и лежал, и не чувствовал, что глаза-то — смотрят. Вот и новый день наступил, пятница. Он пораньше отпросился с работы, чтобы завернуть в сберегательную кассу и там показать билет. Сначала не собирался никому рассказывать про свой выигрыш, но потом не выдержал и похвастался Фонареву. Фонарев тут же попросил его показать билет и таблицу. Но он отвечал, что такое богатство с собой не носят, хотя билет лежал у него в кармане в записной книжке.

Лицо его при этом было непроницаемо, снаружи трудно было представить, какие мысли каждую минуту за этой маской сплетались и расплетались. То ему казалось, что автомобиль уже стоит у сберегательной кассы и на обед он домой поедет уже на нем, то он спохватывался, что автомобиль еще на складе, и раньше вечера получить его никак нельзя.

В сберегательной кассе у нужного окошечка, как нарочно, столпилась очередь, и это еще больше распалило его. Когда, наконец, кассирша сверила билет с таблицей и объявила, что он ничего не выиграл, Симонов только усмехнулся: взятку, собака, вымарщивает. Но отозвался на ее слова спокойно, как будто именно их и ждал: «Что же, мне свои глаза вам вставить?» И дальше говорил со злой, ехидной усмешкой — все, что нужно говорить в таких вот скандальных случаях, не смущаясь и не запинаясь, будто все это, как роль, выучил он вперед наизусть. Он не просто говорил — он играл: каждое слово, каждую паузу играл, выделяя их и усиливая. Сдержанно, едко, легко управляя, казалось бы, необоримой, смертельной ненавистью, вспыхнувшей в нем к обманывавшей его женщине, укрывшейся за стеклянной перегородкой.

Та не выдержала, закричала, пошла к заведующему. Заведующий, маленький деловитый мужичок, помолчал с минуту, слушая ее. О том, что Симонов сходит с ума, он, как и многие в Корстове, хорошо знал.

— Елизавета Николаевна, — пытаюсь придать строгость своему картавому голосу, сказал он, — клиентов надо обслуживать вежливо! Смотрите у меня, а то и выговор можете получить!

Кассирша задохнулась и несколько мгновений молчала, не находя слов, чтобы ответить заведующему. Но увидев, что тот делает ей какие-то знаки, все поняла.

— В чем дело, молодой человек? — еще строже обратился заведующий к Симонову.

Ненавистно-радостная улыбка застыло стояла у того на лице. Не сводя глаз с замолчавшей кассирши, Симонов заправил руку за борт куртки, подчеркнуто деревянным движением вытянул билет...

Очки у заведующего сползли на нос, взгляд отупел, некоторое время он не знал, что сказать. Наконец, изобразил на лице, что ему все понятно, и заявил строго и вопросительно:

— Так, я слушаю!

Симонов переступил с ноги на ногу, налег грудью на барьер перед окошечком, и тоже деловито и уже вежливо сказал:

— Василий Павлович, что же она мне не выдает документы на автомобиль? Законы -то у нас для всех одинаковые — или нет?

— Так... Так... Я слушаю, слушаю... — изображая на лице еще большее внимание, повторял заведующий. Вокруг Симонова, в зале, где высился черный бюст Ленина на тумбе у стены, собралось уже немало людей, все переговаривались, пересмеивались, пересказывали вошедшим, что здесь сейчас творится. Женщины у соседних окошечек встали со своих мест.

— Гнать его, гнать! Вызвать милицию! — крикнул кто-то за спиной Симонова у дверей. И тут же вышел поспешно.

— Тише, товарищи, не мешайте работать! — сказал заведующий уже мягче, глядя поверх больших, съехавших на кончик носа очков. Он в се это время придумывал, как бы с наименьшим шумом отделаться от Симонова. И ответил ему так: для того, чтобы получить автомобиль, нужна справка с места работы. Симонов понятиливо кивнул, еще крепче прилегая грудью к барьеру. Увидев, что Симонов верит ему, Василий Павлович смело добавил:

— Да и вообще-то вам автомобиль должны выдавать по месту работы. Обратитесь к своему начальнику! Мы ведь только регистрируем выигрыши. А он пусть меры принимает...

— Спасибо, Василий Павлович, — с искренней благодарностью сказал Симонов. И, глянув на опустившуюся вниз, завитую голову кассирши, улыбнулся. Улыбка была победительно-радостной. Не спуская глаз с кассирши, он отошел от окошечка.

После обеда он не сразу пошел к начальнику комбината бытового обслуживания, а долго обдумывал, что будет отвечать, если тот затеет какую-нибудь волокиту, как недавняя кассирша. Ее он сначала решил убить, но потом простил — женщина ведь!

В адрес же Василия Павловича, который рыхловатой фигурой напомнил ему рыбинского толстячка-кочегара, он мысленно сочинил благодарственное письмо и завтра же решил отослать его в местную газету.

Он все готовился, не решаясь обратиться к начальнику. Один раз даже вошел в контору, постоял, поглядел на женщин, занятых бумажками, тем же ненавистным, что и на кассиршу, но потаенным взглядом.

Около конторы стояли красные начальниковы «Жигули», на которые он сначала не обратил внимания. Но что-то вдруг затревожило его радостно и лихорадочно. Глянул на часы — уже пора. Из сберкассы, наверное, уже позвонили Владимиру Степановичу, подтолкнула его догадка. А «Жигули» уже пригнали, чего вольнуть -то. Осталось только документы оформить...

Владимир Степанович, человек с маленькими глазками и выпуклыми щеками, — лицо красное, круглое, волосы туго кудрявятся рыжими завитками, — молчаливо выслушал бессвязную речь Симонова и помолчал для солидности. Он хорошо знал, что на сына

Коли-бога «находит», но хотел еще над ним и посмеяться — за то, что тот два раза критиковал в районной газете его, как руководителя, за плохую экономию ре сурсов.

Владимир Степанович работал руководителем не первый год, ему чуть не каждый день приходилось решать вопросы и посложнее симоновского: то находить для водопроводов трубы, которых нигде не было, то приклеивать линолеум к полам чуть ли не канцелярским клеем. Вид на работе он напускал на себя суровый и даже сердитый, потому что тайком от семьи (как он сам выражался — в кулуарах) любил повеселиться и даже выпить с какой-нибудь мастерицей из швейного цеха.

Крупно нахмурил лоб, он разглядывал положенный слесарем на стол счастливый билет.

— Значит, если я не выдам тебе «Жигули», то ты напишешь на меня в газету... так?

— Так, — повторил машинально Симонов. Он глядел в окно за спиной начальника и видел в окне свои «Жигули», стоявшие у ворот конторы.

— Значит, ты пишешь в газету и работаешь не только на нас, но и на редакцию... ты ведь у нас поэт... так?

— Так! — повторил Симонов, но затревожился, не зная, куда клонит начальник.

— Так ты и получать «Жигули» должен в редакции, а не у нас! — закончил Владимир Степанович, испытующе поглядев на Симонова. И, как бы нечаянно, протянул ему его билет...

На мгновение в Симонове все замерло. Он не знал, что отвечать.

— Но как же, как я получу там «Жигули»?..

— Да так и получишь, — ответил начальник, распутив морщины на лбу. — Сейчас я напишу тебе доверенность, ты придешь с ней к Тусклякову... ему ведь ты заметки носишь? Ему... Он подпишет тебе все необходимые документы...

Начальник вынул из гнезда огромную, как скалка, деревянную авторучку с выжженной на ней резьбой — сувенир, привезенный из какой-то поездки — и быстро написал доверенность.

Он протянул ее Симонову. На лице у того уже давно стояла жалкая, благодарственная улыбка. Схватив доверенность и билет, он несколько раз обернулся, уходя:

— Спасибо, спасибо, Владимир Степанович...

— Поздравляю, Володя, поздравляю, — тряс рукой в воздухе начальник, — торопись, пока редакция не закрылась. Не опоздай, смотри. Уже пять часов!

Быстро побежал он в редакцию. Не утерпел, остановился поглядеть на «Жигули» у ворот конторы. Радостная улыбка блуждала по его лицу. «Вот и моя машина, а без бумажки — как и не моя... Эх, бюрократы вы, бюрократы. Когда же мы от вас избавимся?»

Через пятнадцать минут он уже был в редакции. Обитая дерматином дверь в кабинет, где обычно сидел заведующий отделом писем Тускляков, была открыта. Самого Тусклякова не было, но запах его пота еще был тут. Симонов не поленился, заглянул во все кабинеты: нигде нет. Во всех кабинетах ему сказали, что Тускляков находится в командировке, в какой-то далекой деревне, где остались всего две старухи. Не веря, походил он по коридору, покурил. Длиннолицая, громкоголосая женщина с редкими, выбеленными и завитыми волосами, подозрительно вышла в коридор и еще раз сказала ему, что Тусклякова нет.

Симонов, не поверив, решил идти к Тусклякову домой.

Около часу он ходил по Корстову, ожидая, пока кончится рабочий день. Его обгоняли редкие грузовые машины, вечерняя пыль лениво поднималась из -под колес. Теперь он уже не таился — останавливался почти с каждым знакомым, ругал начальнико в и рассказывал о выигрыше. Некоторые верили ему, другие начинали поддразнивать — и тем самым еще больше лихорадили его душу. То он думал, что его сегодняшний день уже пропал

и автомобиля сегодня он не получит, то начинал высмеивать свою робость.

Вдоль заборов, на узких, глубоко выезженных улицах цвели яблони, коринка, рябина: все было белым-бело. Белый цвет — самый снежный, простуженный, так и веет от него холодом. Весь мир от этой свежести кажется нездешним, будто накрыли и несут его упавшие на землю белые облака. Вечереет, а они становятся все призрачнее, все белее, и не гаснут, а словно возносятся и возносятся над землей к еще светлеющему небу.

Тусклякова нашел он у дома: тот чинил забор, вкапывал свежий осиновый столб. Оперся на лопату, и начали разговор. Сначала Тускляков напрямую сказал: «Вам надо полечиться!» И тут же пожалел о сказанном, отступил на шаг, думая: хорошо, что лопата в руке — парень-то здоровый, да еще и сдвинутый. Не совладеешь, если что...

Ненавистная, блуждающая улыбка снова загорелась на лице Симонова. Глаза его, однако, глядели просяще — как у смертельно раненого, которому уже не подняться с земли, а торжествующий враг в это время над ним смеется, наслаждаясь своим злорадством, своей победой, своей жизнью...

Битый час Тускляков — он был из комсомольских работников — успокаивал Симонова, обволакивая, отуманивая своей певучей речью, убеждал его, что тот опоздал, что склад уже закрыт, что оформление доверенности, да и других документов придется отложить до понедельника.

— Вы можете сдать доверенность мне... — предложил он.

— Еще чего не хватало! «Жигули» ведь уже подогнаны к конторе, а мне ждать! — не соглашался Симонов.

— Ну, пусть у вас остается... Увы, таков закон, таков порядок делопроизводства, — подхватывал Тускляков. — «Жигули» уже подогнаны для вручения, а документы на них надо оформлять на складе... Как же вы поедете без документов, без прав? Милиция остановит и отнимет машину...

Переехав в свое время к матери из Рыбинска, Симонов сам в редакцию сперва не заходил, стихи свои присылал по почте. А когда уже было напечатано их немало, пришел к Тусклякову и сказал, с наслаждением наблюдая, какое впечатление произведут его слова: «А вы знаете, что я сын всем из известного Коли-бога?» — и засмеялся. Тускляков потом целую неделю в редакции говорил, что если бы он знал, что это Коли-бога сына стихи, то не спешил бы их печатать.

Теперь он всё выпевал и выпевал тихо и убедительно своим отуманивающим голосом, пристально глядя в глаза Симонову, хотя внутренне весь бушевал от гадости, кото руо подстроил ему начальник комбината бытового обслуживания, и уже придумывал, как бы ему отомстить.

Под конец, непримиренно, едко глянув на Тусклякова, Симонов сказал:

— Какой же вы кишкомот, бюрократ! А еще говорите, что вы — за народ?.. — и ушел. Но ушел совсем не потому, что согласился с тускляковскими доводами.

«Машина все равно моя, — думал он, — ночью сяду в нее и поеду в Рыбинск. Там меня никто не знает. А в понедельник вернусь, оформлю документы. В кочегарку заеду... может, Гомзин там по-прежнему работает».

Хотелось ему щегольнуть и перед слесарем-эстонцем, бывшим офицером. Симонов не знал, что тот еще в прошлом году крепко запил в октябрьскую и умер от побоев, полученных в милиции. А Гомзин тяжело заболел — ему вскрывали череп.

Не дождавшись ночи, в тот же вечер Симонов угнал машину у своего начальника и поехал в Рыбинск. Но на заправке начал чудить: подойдет его очередь — он опять вернется в хвост: «Извините — я могу и подождать!» И так проделывал со смехом несколько раз. Вызвали милицию. Он отчаянно сопротивлялся, его избили, бросили в камеру, и лишь потом, выяснив, с кем имеют дело, отвезли в сумасшедший дом.

На этот раз от Якова Анатольевича Симонов возвратился быстро, не прошло и месяца. Почти сразу же пришел в редакцию к Тусклякову, извинялся, подшучивал над своею болезнью, рассуждая о ней с деревянным спокойствием на лице. Безумие его никуда не делось, оно только улеглось, застыло, как сжимается и охладевает на зиму в иле лягушка, чтобы в мае ожить и запеть из пруда снова. Он принес Тусклякову свое новое стихотворение — как он быстро идет по кладбищу, кругом все цветет, особенно на могилах, и вдруг из могилы высовывается рука и зовет его, а он идет, идет... он, простой советский человек, берет современные скорости.

Тускляков осмотрительно поддакивал ему, говорил, что очень жалко всех умерших, сетовал и на скорости. Сам он любил старину, к тридцати пяти годам собрал множество икон по запустевшим деревням, и сейчас думал, слушая Симонова: «Откуда это он все это взял? Какие скорости? Черт его знает...»

Выйдя из редакции, Симонов зашел домой, надел новую рубашку и покатил на мотоцикле навестить отца. К тому времени, по распоряжению властей, в возрасте семидесяти шести лет уличное скитальчество Коли -бога прекратилось: его оформили, как говорила Маша, в богадельню. В последний год он страдал недержанием мочи и, когда заходил в магазин за вином, табаком или хлебом, люди от смрада раздавались у прилавка: покупай без очереди! А он благодарил их, думая, что его пропускают из уважения. Его даже трудно было узнать, таким он сделался угрюмым и тихим, ходил, ни на кого не глядя. Теперь же он умирал в семи километрах от Корстова, в доме престарелых, устроенном в бывшей барской усадьбе. И там все знали его как Колю -бога, и никто не знал, не ведал, кто и когда дал ему такую кличку, и над кем в ней больше издевательства: над Богом или над человеком?

Поднимаясь на холм, где догнивали в парке дворянские липовые аллеи, Симонов осторожно проехал между двумя прудами: высокая вода в них занемела и была черна, как гудрон. Между темными, толстыми стволами деревьев нарядно забелел, словно выходец из нездешнего града, каменный барский дворец с флигелями и службами под красными крышами. За низеньким штaketником на лавочках молча сидели старики в новой казенной одежде. Одноногая женщина на костылях, с испитым, в темных морщинах лицом, ощерив рот, крепко, по-мужски закусил папиросу и поглядела на Владимира: глаза у нее были пристальные и неприятные, как сизый ил.

Во флигеле, где доживали уже не встававшие с коек инвалиды, отец лежал один в палате, от него нестерпимо несло мочой, он бормотал, повторяя одно и то же: «Вовка, не могу, надо руки на себя наложить! Такие муки... Надо руки на себя наложить!» Морщины его, толстые, грубые, уже не двигались, и сатирическая маска лица не кривилась, только закатывались глубоко, невидяще выпучиваясь от боли, глаза.

Сын долго, спокойно, будто вслушиваясь сам в себя, смотрел на лежащего отца. Потом, точно спохватившись, громко сказал, почти выкрикнул:

— Батя, на тебе крест, а ты говоришь та кое!

Выкрикнул как не свое: вспомнилось ему, втеснившись в ум, что -то из детства, из какого-то разговора матери. Но и посмотрел он на отца тоже осуждающе.

Вокруг его мотоцикла, оставленного у штaketника, столпились люди со страшными, расплывшимися лицами, синими, серыми и красными: приют был учрежден для уголовников, всю жизнь просидевших в тюрьмах и лагерях. С усадебного холма Симонов разогнался в сосняк по песчаной дороге; сбоку потянулись, почти задевая за локоть, темные ветки крушины. Он внезапно затормозил, чтобы закурить, сорвал горсть крупных, незрелых волчьих ягод и, не зная, что с ними делать, разбросал под колеса мотоцикла. И поехал дальше, вспоминая, как в детстве, когда еще они жили в деревне, отец в белых кальсонах и мать в ночной рубашке утром вставали перед иконами на колени, молились, а он смотрел на это с постели: большая, черная прореха чернела сзади на кальсонах, когда Коля-бог кланялся...

Плотник в доме престарелых жил в перестроенном алтаре разрушенной церкви, а фамильный склеп под ней переоборудовал в столярную мастерскую. Там, в склепе, он и сколотил гроб для Коли-бога, которого похоронили у кирпичных развалин, на скате холма, где прятались в высокой крапиве, зарослях бузины и акаций безмянные железные пирамидки и кресты лагерных инвалидов.

Маша с сыном не поехали на похороны. Только на сороковой день она тайком от сына все-таки заказала панихиду, съездив на поезде в Шестихино. Но Владимир, словно почуввав ее настроение, вдруг спросил так, что она потом часто вспоминала этот вопрос: «Мама, а куда душа уходит, как ты думаешь?» И, не выслушав ответа, вслед своим мыслям проговорил: «А так она может жить, дышать — как всё живет своей жизнью?»

Сказав всё это, он замолчал: окуни, сосны, глина, живая гипсовая голова — всё слилось в нем в одно, немо шевелилось в душе сухими словами. Шепот их был ему хорошо знаком: тусклый, пыльный, шепелявый. Если душа не живет — так все равно откуда-то действует на нервы, шепот ее — тусклый, пыльный, шепелявый: так живут в сарае старые вещи — бюсты, плакаты, телефонные аппараты. И еще ему вспомнилось: тусклое, мертвое небо, синева бессолнечная и желтые, как прокуренные зубы, мартовские сосульки над окном сумасшедшего дома.

Вечером он пошел на Волгу, на обрыв, к заросшему крапивой по бокам рыжему оврагу, и долго стоял в его слепом, глиняном сне. Старуха Костомариха с их улицы часто рассказывала, как сюда в восемнадцатом году мужиков из острога водили на расстрел. Всё вокруг, каждый серый камень, затаилось в какой-то невидимой, но ощутимой мгле, в дурной, глиняной, мертвой, минеральной вечности. И такая тоска взяла Владимира: где же святые, где ангелы? Только слепой сон — сон с открытыми глазами... Но вещи — глаза вещей — ничего не видят, слепые глаза не видят ничего, они спят невидяще и себя видят тьмой. Всё это спит, будто само себе приснилось во сне, и будто само себя видит во сне, и кроме этого сна больше ничего нет...

Как выдержать всю эту застывшую на века омертвелость, время без времени? Такое стояло и в двенадцатом веке, и в семнадцатом, и в революцию, и сейчас стоит недвижимо в этом овраге: затаилось в своей адской мгле.

В конце лета Владимир оставил однажды на ночь мотоцикл во дворе. Он прежде так часто делал, когда был жив Дружок. Теперь некому было лаять — и кто-то, воспользовавшись этим, отвинтил колесо. Весь день Симонов в страшном возбуждении бегал по Корстову, останавливал все встречные мотоциклы, оглядывал их, ругался, лез в драку.

Пришел домой он еще засветло и сразу же лег спать. Сквозь сон мать слышала, как он вставал, колобродил, чем-то гремел в сенях, и снова заснула.

Тихой, теплой ночью, часа в два, что-то словно толкнуло Машу. Она проснулась и лежала, не смея поверить в то, что разбудило ее. Как тихо, думала она. Пошла в комнату, к сыну. Кровать заправлена, будто он и не ложился. Еще больше догадываясь, уже со слезами пошла она к сарайке, где стоял мотоцикл... Замка нет, открыла дверь. Сын висит на веревке. Потрогала — уже и остыл весь...

Однажды, — еще когда был жив брат, еще до поездки в Ярославль к Ивану Хитрову, — приехал Владимир в отпуск к матери. Пошел на Волгу, к пристани, искупаться. Было тихо, пыльные листья шиповника молчали, как мертвые; и только небольшие цветы будто горели устало — и так было мило, необычно, странно. Он шел по тропке уютного тротуарчика, отделенного от мощеной бульжником улицы кустами шиповника, и здесь, в теплом закутке, у обшитой тесом стены старого дома, его окликнул голос: «Вовка!»

Он оглянулся — и впереди, где у переулочка, выходящего к Волге, редели кусты, и позади, где спускалась улица с холма, никого не было.

«Да здесь нет никого», — удивился он, вбирая в себя вопросительно, будто это они могли позвать: убитую тропку тротуарчика, дощатый, темный забор, призаборную траву, нежившуюся тут по-кошачьи. Выглянула на улицу из-за куста круглая его физиономия — как яблоко, румяная, с черными бровями, черными гладкими волосами и веселыми, будто пьяноватыми, глазами, губы яркие, вишневые — и всё молодое, застылое лицо его раздернула улыбка удивления, потому что улица, скатывающаяся под гору между деревянных домов с заборами, была по-прежнему пустынна. Посмотрел на противоположный тротуар, где чернели венцы ветхого домика. Может, это оттуда его окликнули? Но и там, за тощими, выгоревшими акациями, никого не было.

Необъятный огород с яблоньками и смородинным и кустами словно тянул домик по скату оврага вниз, к ручью, но и в огороде никого не было. Кто же позвал его?

Он постоял, вслушиваясь, как этот вопрос овладевает им. Когда же снова глянул на мелкие, разомлевшие, уже начинающие опадать цветы шиповника — они в этот момент словно дрогнули, проваливаясь в него, в его душу, словно, не выдержав безмолвного допроса, сознались, что это — они позвали. И все место это, солнечное, обжитое домом, старым забором, весь этот закуток человеческого мира — дрогнул, провалился в него; и он, хотя ничего не случилось, прошел несколько секунд так, будто он сам провалился в колодец иного мира. И вот он снова в родном городишке, на улице, в будничной вечности. Он почувствовал, что в этом закутке жизни — глубина, рай, что все здесь живое, все дышит, мерцая: и цветы шиповника, и тропка, и солнечный, ветхий тес стены. Может, все это — живое, райское — и окликнуло его человеческим голосом?

Он тогда и не предполагал, что такого счастливого слияния с жизнью больше никогда не будет. Но уже тогда как-то почувствовал это, и рассмеялся от радости, хотя внешней половиной чувства, обращенного не внутрь, а к миру, не поверил. И пошел беззаботно, направляясь к будничной фигурке, будничному лицу словно сто лет ему знакомой старушки...

Его мучили мнимости: отрубленная голова, мысли о революции, покушение на Брежнева, счастливый выигрыш... Но теперь, когда стусился вокруг него, замуравов, посмертный свет, когда крепко охватил этот свет его со всех сторон, как винное стекло охватывает толику дурманящего настоя, он увидел того, кто владел всеми его мечтами, кто всю жизнь звал его к себе.

К заправочной станции подъехала автомашинка-фургон. Шофер просунул заправщице в окошечко талоны и стал заливать бензин в бак. Разогретый, душный запах бензина вьется даже в пыль. Вокруг стояли деревья — замершие, затихшие, пресытившиеся до изнеможения летним теплом и ростом.

— Что везешь? — спросила заправщица из своей будки, откладывая в сторону засаленный журнал.

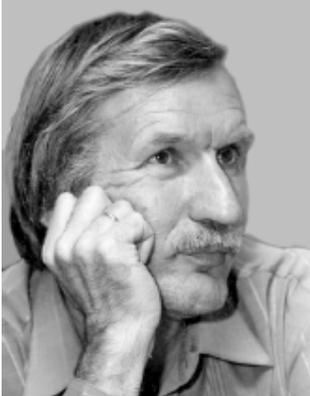
Шофер вынул металлический наконечник шланга из бака, постучал им, сбрасывая под ноги капли.

— Дурак какой-то повесился. Жить надоело. Вот и велели везти в Рыбинск, на вскрытие, — отчужденно-бодро сказал он. — Говорят, Коли-бога сын...

— Так, значит, это он у тебя? — удивилась та. — Я же с ними через дом живу, он еще мне рыбы весной приносил, окуньков, — и стала торопливо и уже не в первый раз пересказывать, из-за какого пустяка повесился Симонов, придавая всему этому вид повседневной случайности, привычного русского обыкновения.

Шофер, опустив глаза, смотрел на масляное, черное пятно под ногами. Послушал, пошевелил гримаской щетинистых морщин и, ничего не сказав, уехал. Вглубленные в сердце, корни каких-то смутных чувств томились, ныли и вздрагивали в нем всю дорогу — наверное, это и было то, что осталось в каждом из нас от слов: «Страшно без Бога!»

ПРИГЛАШАЕМ К ДИСКУССИИ



Константин
Воротной

Загадки «Слова о полку Игореве»

«Ироическая песнь о походе на половцев удельного князя Нова -города Северского Игоря Святославича, писанная старинным русским языком в исходе XII столетия с переложением на употребляемое ныне наречие». Под таким велеречивым названием выпустил в Москве в 1800 году первое печатное издание «Слова о полку Игореве» ярославский помещик, бывший обер-прокурор Святейшего Синода, действительный тайный советник и кавалер, сиятельный граф Алексей Иванович Мусин -Пушкин. А через двенадцать лет, в сентябре 1812 года, во время московского пожара, при наполеоновском нашествии, список «Слова», как и почти весь тираж первого его издания, сгорел вместе со всем «Собранием российских древностей» А.И. Мусина -Пушкина. Так считается...

Почти двести лет, со дня обретения «Игориады», исследователи пытаются ответить на ряд вопросов. Кто автор «Слова о полку Игореве? При каких обстоятельствах оно было найдено? Не является ли это произведение мистификацией? Мне думается, здесь уместны еще два вопроса. Каково происхождение «Слова»? Не является ли мистификацией его гибель?

Со слов А.И. Мусина-Пушкина, «Слово о полку Игореве» он приобрел у архимандрита Спасского Ярославского монастыря Иоилия Быковского в 1788 г. и находилось это произведение в конце книги, называемой «Хронограф», по главному произведению, содержащемуся в томе. Однако историк Н.М. Карамзин называет совершенно иную книгу, в которой находилось «Слово». ¹ Кто же говорил правду? Думается, историк и археограф К.Ф. Калайдович (1792-1832) не погрешил против истины, когда обвинил сиятельного графа в использовании

Константин Викторович Воротной родился в 1956 году в городе Закаталы Азербайджанской ССР, в 1963 году вместе с родителями переехал в Кострому. В 1983 году окончил историко -педагогический факультет Костромского педагогического института имени Н.А.Некрасова, в 1993 году — аспирантуру при этом вузе. Преподавал историю и философию в сельскохозяйственной академии, работал журналистом, чиновником, сотрудником костромского музея-заповедника «Ипатьевский монастырь». Был одним из создателей музея Ивана Сусанина. В настоящий момент заведует отделом в одной из костромских газет.

С середины 80-х годов прошлого столетия активно публикуется в региональной и центральной прессе. В различных изданиях опубликовано более тысячи статей К.Воротного, круг его интересов — история, философия, литература, эзотерика, политическая публицистика.

Живет в Костроме.

служебного положения в личных целях, хотя и во благо России. Видимо, так и было. Дело в том, что в 1787 г. русская императрица Екатерина II подписала Указ о сборе в церквях и монастырях старинных рукописей для снятия с них копий. Ярославский епископ Сильвестр небольшую часть рукописей отправил в Санкт-Петербург и Москву, а большинство попросту сжег «за ненадобностью»(!) В то же время монастырские власти совсем не торопились расставаться со своими библиотеками, наученные горьким опытом: начиная с царя Алексея Михайловича (1645-1676) государственная власть постоянно очищала монастырские и церковные книгохранилища от древнейших манускриптов под предлогом их просмотра, уточнения и снятия копий. Как правило, назад они не возвращались. Более того, подавляющее большинство этих бесценных рукописей древней Руси, излагавших подлинную историю нашего Отечества, бесследно исчезло. При этом исчезли они в период приблизительно с 1740 по 1790 -е годы, когда на территории России не было ни одной войны и ни один враг извне на Русь не приходил. Поэтому и не желали на местах расставаться с веками хранившимися здесь книгами и рукописями.

В столице, видимо, догадывались о подобных настроениях в провинции, понимали, почему указы об изъятии рукописей не выполняются, а потому направляли на места своих чиновников с соответствующим поручением. Обер-прокурор Синода оказался в Ярославле, скорее всего, не только по своей воле и не только ради посещения своего имения. Монастырские власти, зная об увлечении графа — собирании древних манускриптов — решили смягчить гнев столичного чиновника, вручив ему книгу со списком «Слова о пълку Игореве». В виде взятки. Потому Алексей Иванович и постарался запутать современников, да и потомков, относительно тайны своего приобретения. Правда, остается без ответа еще один вопрос. Где и в каком монастыре нашел «Слово» сиятельный граф: в Ярославле или Ростове? Дело в том, что разгадав тайну находки «Слова», мы сможем ответить еще на один важный вопрос — где искать знаменитую библиотеку Ивана Грозного...

За два века, прошедших со времени находки сказания, оно, кажется, исследовано досконально. Считается, что князю Игорю Святославичу не давали покоя лавры его двоюродного брата, великого киевского князя Святослава Всеволодовича (1180-1194), совершившего в 1184 г. грандиозный победоносный поход против половцев. Поэтому Игорь Святославич собрал войско, пошел на половцев, потерпел поражение, попал к ним в плен и лишь с помощью некоего Лавра, то ли русского, то ли крещеного половца, сумел бежать из плена и вернуться домой в Новгород Северский.

Однако, действительности это не соответствует. Князь Игорь вовсе не собирался грабить половецкие тылы², «жемчуга и оксамиты» он добыл, так сказать, попутно. Да и маршрут его похода не подтверждает версию о походе за «добычею и славою». Главная цель его военного предприятия была иная: возвращение под власть Черниговских князей самого южного и самого древнего русского княжества — Тмуторокани. «Се бо два сокола слетели с отчего стола златого поискать град а Тмуторокани». Поход за Тмутороканью был не просто делом чести князя Игоря, он должен был стать делом всей его жизни, если бы завершился удачно. Поэтому и повел Игорь свое войско в обход поля половецкого, по краю последнего, где сопротивление противника было, естественно, значительно слабее. И, тем не менее, трехдневная битва русского войска с половецким завершилась поражением русичей. Но искать на географических картах реку Каялу, где состоялась битва, бесполезно. Ибо реки такой на земле не существует. Это мифическая, легендарная река древних ариев, река несчастий и раскаяний, река Смерти. Именно потому и терпит поражение на ее берегах князь Игорь. И не случаен в «Слове» упрек Игорю, который «погрузил жир во дне Каялы — реки половецкой, русского злата на сыпаша». Русское золото — жизни русских воинов, цвет игоревой дружины, погибшей во время похода. А жир, который Игорь погрузил на дно реки Каялы, применялся во время жертвоприношений еще древними ариями, есть даже особый «Гимн жиру», который

приведен в «Ригведе». Так что можно определенно сказать, что гибель воинов князя Игоря является жертвоприношением Смерти, которую здесь олицетворяет Каяла -река³.

Однако, поражение Игоря и его воинов — не военное. Оно на другом поле — духовном. Не случайно рефреном через все произведение проходит выражение: «Мы — Дажьбоговы внуки». Так русичи как бы вымаливают прощение у древнего славянского бога за то, что предали его, приняв иную, чужеземную веру. Которая и стала, по мнению автора (или авторов) причиной розни и вражды русичей между собой, причиной их поражений в борьбе с врагами.

«Слово о пълку Игореве» — произведение ведическое, и по смыслу, и по содержанию. Когда автор призывает русичей объединиться, он имеет в виду объединение на основе именно древней исконной религии русов, а не христианства. И не только потому, что в произведении постоянно упоминаются Хорс, Перун, Дажьбог, Стрибог. Сам дух произведения отнюдь не христианский. Это наиболее проявляется в знаменитом «плаче Ярославны», самом пронзительном, пожалуй, месте этого сказания. Молясь за князя Игоря, своего мужа, Евпраксия Ярославна обращается вовсе не к Христу, а к Солнцу, Ветру, Днепру Словутичу. Не свойственно христианским произведениям и описание природы и природных явлений, в то время как «Слово» насыщено такими описаниями.

«Слово о пълку Игореве» — настоящий эпос русского народа. Он стоит в одном ряду с «Махабхаратой», «Илиадой», «Шахнаме», «Витязем в тигровой шкуре». Автором сказания мог быть только человек, обладавший такими знаниями по истории и религии славянства, какие простому смертному, даже князю, были недоступны. То есть, жрец, Посвященный, хранитель мудрости и древних знаний. Только он мог призывать к духовному, религиозному объединению. Потому в «Слове о пълку Игореве» почти и не отражена христианская тематика. Русь домонгольская была отнюдь не так христианизирована, как пытаются нам представить ее ученые академики и православные иерархи. Да и сам князь Игорь Святославич, судя по его речам, вовсе не был истовым христианином.

В качестве доказательства, что «Слово» является христианским произведением, приводят обычно последние фразы этого произведения: «Солнце светит на небе — Игорь князь в Русской земле. Девицы поют на Дунае — вьются голоса через море до Киева. Игорь едет по Боричеву к Святой Богородице Пирогощей. Села радуются, города веселятся. Пелись песни старым князьям, а теперь молодым поют! Слава Игорю Святославичу, Буй Тур Всеволоду, Владимиру Игоревичу! Здравия князьям и дружине, воевавшим за христиан против языческого воинства! Князьям слава и дружине! Аминь».

На самом деле это позднейшая приписка. Дело в том, что Игорь Святославич никак не мог ехать «по Боричеву к Святой Богородице Пирогощей», поскольку никогда не был в Киеве. Более того, его туда не пустили бы. Точнее, он был бы там сразу же посажен в тюрьму, поскольку его обвиняли в том, что из-за его неразумного поступка — похода на половцев — последние снова начали совершать опустошительные набеги на Русь. Но, главное, он ослушался советов и великого Черниговского князя, и великого Киевского князя. А это уже считалось преступлением. Так что, бежать из половецкого плена князь Игорь не мог не только в Киев, но даже и в Чернигов. К тому же Киев и Чернигов были соперниками в борьбе за главенство в Южной Руси. Попросту в то время, когда «Слово о полку Игореве» попало в руки переписчиков, (скорее всего, в годы царствования Ивана Грозного), топография Чернигова была забыта, а о Киеве еще что-то помнили, вот и приписали князю Игорю путь по Боричеву спуску некогда бывшей «матер и городов русских».

Заметим, что сказание опровергает устоявшееся в науке мнение о «молодости» славянского этноса. Из «Слова» видно как раз обратное: уже в XII в. русичи осознали себя единым этносом, а такое осознание свойственно лишь тем, кто имеет уже до статочно зрелый возраст. В Европе к этому пришли намного позже — через 2-4 века (например,

французы или германцы). Напомним, что о древности славян свидетельствуют не только древнейшие славянские произведения (кроме «Слова о пълку Игореве», это еще «Влесо ва книга», «Глубинная книга», «Боянов гимн»), но и сочинения европейских авторов, например, Мавро Орбини, который в начале XVII в. написал в своем исследовании о славянах, что «славянский род старше пирамид»⁴. Это подтверждает и упоминание в «Слове» «вечей Трояновых» (историк Н.М. Карамзин, правда, пишет, что здесь надо читать «сечи Трояновы», но суть в данном случае не меняется), то есть, народных собраний в г. Троя (Малая Азия), что отнюдь не случайно⁵.

Еще одна важная проблема «Игориады» — ее перевод. Над всеми переводчиками песни довлеет одна существенная ошибка: считается, что «Слово» является славянским произведением, что оно написано на древнеславянском языке. Но всё намного сложнее.

Киевскую Русь мы почему-то воспринимаем как государство, населенное в подавляющем большинстве славянскими племенами, которые бы ли как бы «разбавлены» небольшим вкраплениями тюркских и финно-угорских племен. В реальности всё, однако, обстояло иначе. Южная Русь была достаточно густо населена, помимо славян, другими (в основном, тюркскими) племенами: половцами, хазарами, болгарами, торками, а также греками и готами⁶. Особенно характерным в этом отношении было Черниговское княжество: его составной частью являлось княжество Тмуторокань, в котором, хотя оно и считалось русским, на самом деле славянского элемента было явное меньшинство, а преобладали как раз тюркоязычные народы — болгары, печенеги, половцы, а также отюреченные славяне, греки и готы. Последние, как пишет русский историк А.И. Лызлов, были также тюрками, а не германцами⁷.

После появления в Северном Причерноморье основной массы половцев и угрозы потерять связи с основной Русью, масса переселенцев из Тмуторокани устремила в свою метрополию — Черниговское княжество. Если учесть, что «Слово» родилось в этой тюрко-славянской среде, о чем свидетельствует большое наличие в сказании болгаризмов и тюркизмов, то становится понятным, что без знания тюркских языков перевод произведения становится неполноценным и обедненным. Об этом писал еще казахский писатель Олжас Сулейменов в своей книге «Аз и Я»⁸. Но эту книгу советская академическая наука не только попыталась замолчать, но еще и обвинила Сулейменова во всех смертных грехах, в том числе и в покушении на отечественные святыни, и в русофобии (!) Хотя казахский писатель ни на что не покушался и никакой крамолы не написал. Он более глубоко рассмотрел эту проблему, которой начал заниматься еще выдающийся советский академик С.П. Обнорский⁹. В работе академика приведен целый список тюркских и болгарских слов и выражений, присутствующих в «Слове о пълку Игореве», однако на это почему-то внимания не обратили и переводили на современный язык иноязычные слова так же, как древнеславянские.

Хотя требуют они иного подхода. Типичный пример — слово «харалуг». Почему-то его всегда переводят как «булат». Но ни в одном языке мира нет такого названия булата. Дабы сохранить свое лицо, ученые мужи решили в примечаниях к переводам «Слова» сделать сноску, что «происхождение слова «харалуг» остается до сих пор неясным». Зачем же тогда так переводить его? Такого слова действительно ни в одном языке мы не найдем, ибо «харалуг» — это славянская калька с тюркского «кара улуг», что переводится как «черный богатырь», «черный великан». То есть, «мечи харалужные» — это «мечи богатырские», а не «булатные». Это не метафора: меч сей действительно богатырский — более метра длиной, очень тяжелый, его мог держать (а тем более, сражаться) только физически крепкий, богатырского сложения человек. К тому же он должен был быть умелым воином, поскольку такой меч над о держать двумя руками, и при этом необходимо держаться в седле. Можно представить, какую инерционную силу развивало такое грозное оружие во время боя, оно действительно было богатырским.

Если трудности с переводом иноязычных слов можно объяснить, то как понять неверное толкование чисто славянских слов и выражений? На пример, из знаменитого «плача Ярославны»: «омочу бе бран рукав в Каяле-реке, утру кровавые его раны». При этом «бе бран» пишется вместе и переводится как «шелковый». Такая ошибка происходит не просто из-за незнания, но вообще откровенного игнорирования древнейших славяно-русских обычаев. Ведь «бе бран» переводится как «домотканый». И одета Евпраксия Ярославна была вовсе не в шелка, а в льняные одежды. Лен славяне считали священным растением, обладающим целебными свойствами, каковые переходили и на ткань, и на одежды, сотканые из льна. Потому-то Ярославна и хочет утереть раны Игоря, омочив рукав своей одежды в водах Каялы-реки¹⁰. Кроме того, согласно обычаю, если муж славянки уходил на войну, она не имела права одеваться в торжественные одежды, так как это было бы неуважением к тем, кто в это время погибал на поле боя. Этические нормы морали были в те далекие времена намного выше, нежели в современном мире.

Два слова, написанных по разному — *първых* и *пръвых* — переводчики-академики почему-то прочитали и перевели как одно — «первых». Сначала о первом слове: «Боян бо вещей... помняшет *първых* времен усобице». То, что слово «първых» переводится как «первых», сомнений не вызывает, и спорить здесь не о чем. А вот что касается другого слова, то в данном случае переводчики ошибаются: «О, стонати Руской земли, помянувшу *пръвую* годину и *пръвых* князей». В древней Руси, в отличие от современности, к грамматике относились очень ответственно, и написать ту или иную букву где попало не имели права. Это слово имеет совсем иное значение: «пръвые» (превые) переводится как «преступные». То есть, фраза переводится совсем по иному: «О, горе земле Русской, вспомнившей преступные времена и предателей (преступников) князе й». Тем более, что далее идет еще одна примечательная фраза: «Не лучше ли было приковать князя Владимира к горам киевским». Речь идет, естественно, о князе Владимире Святославиче, который развязал первую на Руси междоусобную и межрелигиозную войны, убил св оих братьев, взял в жены беременную жену одного из них и совершил насилие над полоцкой княжной Рогнедой. Все это было хорошо известно в те времена, и потому даже Русская Православная Церковь не торопилась причислять Владимира к лику святых. Канонизация князя произошла только через двести лет после его смерти, даже несмотря на то, что он считался крестителем Руси.

«Слово о пълку Игореве» — эпическое произведение, действие его проходит вне времени и пространства, но, в то же время, в конкретном времени и конкретном пространстве. Поход князя Игоря — лишь привязка, повод, понадобившийся автору для того, чтобы воскресить у своих современников-русичей эпическую память о славных делах предков, пройти с ними тысячелетний и тысячеверстый путь.

Это не рассказ о «темном походе неизвестного князя», как писал великий Пушкин, а настоящий русский миф, вобравший в себя как древнейшие славянские мифы и легенды, так и современные автору события на Руси. Главный герой «Слова» — сама Русь, от Трои и Дуная до Днепра и Дона, от века XII до н.э. до века XII нашей эры (то есть, охватывает период почти в две тысячи лет). Но, по сути, действие не имеет временных рамок, оно — *настоящее продолженное*. Не случайно же мы до сих пор воспринимаем «Слово» так, будто написано оно не восемьсот лет назад и не о походе князя Игоря, а нашим современником (хотя вряд ли найдется в современной России еще один такой гений) и о нашем времени. Более того, в любое время читатели и исследователи воспринимали «Слово» как современное им произведение.

Видимо, «Слово о пълку Игореве» — последнее произведение ведической Руси, в котором автор, жрец-воин, прослеживает исторический путь Ра-Теи — Рассеи — Руси от времен великой Трои-Таруисы-Та-Русы в Малой Азии («были вечи Трояни») до Трои-Тутракани-Тмуторокани на Таманском полуострове. Этот путь и прошли дети-внуки-прапотомки Даждьбога — предки-пращуры князя Игоря Святославича. Это поэтическое сказание могло родиться только в Черниговской земле — Черниграде-Царьграде Руси

Днепровской, куда выселенцы из дунайско й Тутракани принесли одно из древнейших славянских сказаний. Автор сказания напоминает: ведическая вера жива, она не ушла, не погибла, будет жить всегда. Как бы ни изгоняло ее христианство. Она не может умереть, ибо она наша исконная, она в нашей плоти и к рови, в наших генах. Чтобы ее уничтожить, надо уничтожить русичей, под корень, всех до одного. А это не под силу никому на земле.

Существует устойчивое предание, что на Руси всегда существовало тайное общество ведических жрецов, которые сохранили древнейш ие знания славянских народов вплоть до наших дней. Считается, что представители этого ордена были и в среде великих князей, как Рюриковичей, так и Романовых. Трудно сказать, принадлежал ли к их числу Игорь Святославич. Но интересно, что полоцкого князя Всеслава Брячиславича (1026-1101) современники обвиняли в волховании: не случайно автор «Слова» отметил, что «Всеслав... великому Хорсу волком путь перерыскивал». Сам же автор «Игориады», скорее всего, принадлежал к касте ведических жрецов, которые сохранил и свою веру и свои знания даже в условиях жесточайших гонений со стороны христианских миссионеров и великокняжеской власти.

«Слово о полку Игореве» — вершина поэзии древней русской литературы. Оно родилось на стыке двух культур — славянской (вообще, арийской) и тюркской, поэтому оно так необычно и так притягивает к себе. Оно написано тем языком, на котором говорили жители древней Трои, дунайской Руси, Тмуторокани, Киевской Руси. И автор «Слова» сумел донести до нас этот исконный язык славяно-тюркского общества Балканского полуострова, который екатерининские переписчики просто не поняли. Поэтому в «Игориаде», наряду с древним славянским, присутствует столько болгарских и тюркских слов.

«Слово о пълку Игореве» хранит еще немало загадок. Одна из них — загадочная гибель списка сказания в огне московского пожарища в сентябре 1812 г. У меня на этот счет имеются большие сомнения. Судя по всему, Алексей Иванович Мусин-Пушкин осознал, что его великое открытие не оценили и не поняли (он сам это отмечал, когда жалова лся, что тираж книги почти не раскупили), а потому, видимо, решил спрятать его, так сказать, до лучших времен. На эту мысль наталкивает и весьма странное обретение «Слова», и личность самого А.И. Мусина-Пушкина. Он не был так прост, этот сиятельный граф, чтобы так легко расстаться со своей находкой. А чтобы его вновь не обвинили в разного рода грехах, разыграл мистификацию с гибелью списка «Слова»...

Думается, настанет время, когда оригинальный список «Слова о пълку Игореве» вновь возникнет из небытия и мы обретем это великое произведение уже навсегда. И сумеем понять его сокровенный, первоначальный смысл. И тогда «Слово о пълку Игореве» предстанет перед русичами-россиянами во всей своей величественной красоте. Каким его задумали авторы... Кстати, до сих пор не издана аутентичная копия «Слова», которую снял с рукописи А.И. Бардин, еще до екатерининских переписчиков. Может быть потому, что эта копия содержит несколько иной, более полный текст сказания, нежели мы имеем сейчас?

P.S. Жаль, что А.С. Пушкин не успел всерьез заняться исследованием «Слова». Судя по ряду небольших очерков, он собирался перевести это произведение. Думается, его перевод был бы намного ближе к оригиналу, нежели все остальные, тем более, безграмотный перевод Д.С. Лихачева. Ибо Александр Сергеевич русский язык знал великолепно, о чем как раз и свидетельствуют его очерки, где он переводит некоторые отрывки из «Слова»...

Примечания

1. Н.М. Карамзин. История государства Российского. В XII т.т.Т.II -III.С.665.
2. Половцы (самоназвание «кыпчаки») — тюркское племя, вышедшее из степей Центральной Азии. В Причерноморье пришли во второй половине XI в. Считаются кочевым племенем. Однако, русский историк А. Лызлов (1655 -1698) в своей книге «Скифийская история» (М., Наука., 1990) утверждает, что «у половцев были города, и крепости, и села», то есть, половцы были оседлым, а не кочевым народом. И были высокими и светловолосыми людьми, а не коротконогими узкоглазыми монголоидами. Подобные представления сложились у нас под влиянием современной исторической науки, которую подобные «мелочи» не интересуют.
3. У древних ариев было основополагающее понятие — «Кала», означавшее Время и Смерть, ибо Время и есть Смерть. Судя по всему, славянская «Каяла» — это санскритская «Кала» («Каала»). И не случайно Каяла — река: древние арии представляли Время в виде реки, бесконечно несущей свои воды вперед и вперед.
4. Орбини Мавро. Книга историографии начала имени, славы и расширения народа славянского и их Царей и Владетелей под многими именами и со многими Царствами, Королевствами и Провинциями. Собрана из многих книг исторических, через господина Мавроурбина Архимандрита Рагужского. Рим.1601 г. На русский язык переводилась и была издана единственный раз — в 1722 г. в Петербурге.
5. «Были века Трояни, минули лета Ярославовы». Согласно археологическим данным, Троя была основана не позже XVIII в. до н.э. То есть, на этой территории племена, в том числе и славянские, жили около восьми веков. Кстати, у болгарских славян -помаков имеется целый цикл преданий, в которых говорится о том, как славяне участвовали в Троянской войне. Правда, некоторые переводят «вечи Трояни» как именно «вечи», то есть, народные собрания, что не противоречит исторической достоверности, ибо о народных собраниях в Трое писал в «Илиаде» Гомер.
6. Уже упоминавшийся русский историк второй половины XVII в. А. Лызлов утверждает, что «половцы это и есть готы». Об этом же пишет и Мавро Орбини. То есть, готы являются тюркоязычным либо финно -угорским племенем, а вовсе не германским, как уверяет нас «официальная» историография. Кстати, русский историк XIX в. Е. Классен тоже утверждал, что готы вовсе не являются германским племенем.
7. А.И. Лызлов. Скифийская история. М., 1990 г.
8. О.О. Сулейменов. Аз и Я. Книга благонамеренного читателя. Алма -Ата. Жазуши. 1975.
9. С.П. Обнорский. Избранные работы по русскому языку. М., 1960.
10. Каяла — река Смерти, она течет мертвой водой. Так как Игорь жив, то живая вода ему не требуется. А мертвая вода заживит ему раны. Древние славяне различали живую и мертвую воды: мертвая вода заживляет раны, живая вода не только оживляет, но и придает силы. В русских народных сказках имеется множество упоминаний о живой и мертвой воде, об их свойствах.

ПОЭЗИЯ

Полина Ефимова

Беззащитная речь



ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ

Памяти Беслана

Старинный сад. Вхожу сюда под вечер,
Уставшая от вечной суеты.
Свои бутоны холоду навстречу
Открыли здесь осенние цветы.

Здесь пробует свои порывы ветер
И серый дождь рыдает в эти дни.
Цветы же, как напуганные дети,
Улыбки солнца ждут. Они одни

Не знают, отчего темно и больно...
Лишенные шипов роскошных роз,
Они беззлобны — и простят невольно
И сумрак дня, и утренний мороз.

Они не знают смерти — нет, не знают! —
Когда без грусти в облака глядят.
Невинно так головками кивают,
Беспечно так мечты свои хранят.

А я боюсь приблизить к ним ладони —
Так беззащитна их немая речь.
Хочу сказать им, что никто не тронет,
И не могу... Нельзя их уберечь.

Полина Евгеньевна Ефимова родилась в 1985 году в Рыбинске. Окончила среднюю школу и музыкальную школу по классу фортепиано. Окончила в 2006 году социально-экономический факультет Рыбинской Государственной Авиационной Технологической Академии имени П.А.Соловьева по специальности «Экономика и управление на предприятии».

Стихи и прозу пишет с детских лет. Публиковалась в «Студенческом вестнике» РГАТА. В 2005 году участвовала в областном семинаре молодых писателей в Ярославле.

Живет в Рыбинске.

* * *

Ты говоришь, что я не кличу бед,
Что слезы тех, кто близок мне — случайны...
Случайное — бывает или нет?
Душа не разгадает этой тайны.

Я помню, что колдуньей во дворе
Меня когда-то девочки прозвали —
Таких сжигали прежде на костре...
Мой бедный друг, колдую я едва ли,

Но можно ведь, увы, беду навлечь
Неосторожной мыслью или словом —
И уж не снять чужих несчастий с плеч,
А пережить их сердце не готово.

* * *

По темной школе вновь прошла одна...
Какая-то девчушка в коридоре
Сидела, робко сжавшись, у окна
И тихо-тихо плакала от горя.

К ней подойти, прижать к себе, обнять,
Хоть что-нибудь сказать ей в утешенье!..
Но вдруг она взглянула на меня,
Взглянула — и исчезла, как виденье.

Та девочка... ведь это я была! —
Чуть беззащитней, чище и моложе,
Чем я теперь... Не лгут мне зеркала:
Холодных рук обветренная кожа,

Тревожные зеленые глаза
И вечно тень усталости под ними,
Да встрепанная русая коса...
Я позвала ее. Но это имя

Здесь не звучит давно, и не секрет —
Уже для многих ничего не значит.
...Но сколько б ни прошло унылых лет —
Она все так же в темной школе плачет.

* * *

Прошлого не вернуть —
Черная тень легла.
Вы, улыбнувшись чуть,
Спросите: «Как дела?»

«Все хорошо», — солгу,
Глядя — глаза в глаза.
Дурно — а что могу
Я вам еще сказать?

Впрочем, всё как всегда —
Дни убегают вскачь.
Что вам моя беда,
Что мне ваш детский плач,

Что вам мой долгий путь,
Что мне тот летний день...
Прошлого не вернуть.
Черная пала тень.

* * *

Не устала ни жить, ни страдать,
Хоть и знаю, что всё бесполезно...
Что о завтрашнем счастье гадать,
Если «завтра» — тревожная бездна!

Только душу мутить... Но светла
Даль небесная в мире Господнем.
Что за дивная осень пришла!
Вот моё золотое «сегодня»:

Долгожданная встреча с тобой
И сочувствие рыбинских улиц,
И волны леденящей прибой,
И вороны, что к хлебу метнулись,

И прозрачного облака тень,
И скамейка, кривая немного...
Я молюсь за сегодняшний день
Как за дар милосердного Бога.

* * *

Письмо, что так ждала — увы, пустое...
В нем голоса не слышу твоего.
Ты мне открыть не можешь ничего,
И я, наверно, этого не стою.

Но даже мне — так больно замечать
Лишь холод за учтивостью простою.
Письмо, что ты прислал — оно пустое,
А пустоте — кто будет отвечать?

* * *

Нынче небо такое спокойное,
И березки качаются стройные,
И морозы приблизились первые.
И сердца утешаются верою.

Это горькое горе — не вечное,
Скоро сблизят нас дни быстротечные,
Озарят они радостью души нам.
Тихий благовест вместе послушаем.

Раскраснеются щеки от холода...
Мы живем, мы по-прежнему молоды!
И не век нам оплакивать прошлое,
В жизни что-нибудь будет хорошее.

* * *

Живое жить должно, а это значит,
Что жизнь нельзя унынием губить.
Пусть душа надломленная плачет,
Пусть болит — должно живое жить.
Должно любить, надеяться и верить!
Страданием ли, счастьем, может быть,
Придется нам земную жизнь измерить,
Но все-таки... должно живое жить.

ДЕНЬ АНГЕЛА

Порхала, порхала, порхала,
И перья на солнце блестели...
Не верилось даже сначала:
Пичужка — зимой? Неужели?

Как в мае, под сводами звонко
Лилась серебристая песня,
И взрослый глазами ребенка
Следил за певуньей небесной:

То сядет на двери в притворе,
То бьется в окно с переплетом...
Сулила мне счастье, иль горе
Мелодия гостьи залетной —

Не знаю. И все же, поверьте,
Смогла я принять без боязни
Предвестницу близкой ли смерти,
Подарок ли в Ангельский праздник.

ЮБИЛЕЙНОЕ ИНТЕРВЬЮ

«ЕЩЕ НЕ ПОЗДНО!» ЖДЕТ ВАС

Поздравлять коллег-издателей с юбилеем – одно удовольствие. А для нашего журнала – уже и традиция. Два года тому назад, в пятом номере «Русского пути» мы поздравляли с десятилетием ярославское издательство Александра Рутмана. А в нынешнем году исполнилось пять лет со дня создания еще одного ярославского издательства – «Еще не поздно!» Руководит им деятельный, энергичный человек, известный многим пишущим ярославцам В.Н. Самознаев. В канун празднования пусть небольшого, но уже юбилея с Виктором Самознаевым побеседовал главный редактор нашего журнала Евгений Чеканов.

– Виктор Николаевич, рад вас видеть в гостях у «Русского пути». На дворе – начало ноября 2006 года. А когда образовалось ваше издательство? И вообще: когда и почему лично вы решились заняться издательским делом?

– Образовались мы в конце декабря 2001 года в структуре общества с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр «Рубеж». Именно тогда там был создан издательский отдел «Еще не поздно!» Это название перешло по наследству от названия благотворительного фонда, которым я руководил в течение десяти лет, начиная с 1992 года. Закрыв фонд, решил не расставаться с названием... оно живет во мне с тех самых пор, когда родились вот эти строчки:

В сердце и душе моей – морозно:
Многим людям нынче трудно жить.
Мы должны помочь! Еще не поздно
Всех сирот заботой окружить.

Положим, о сиротах в прямом смысле слова наше издательство не печется, но пафос этих моих строк – именно в желании помочь. Помочь каждому автору, обратившемуся к нам...

– Так вы еще и стихи пописываете?

– Да. Правда, один известный у нас в Ярославле поэт говорит, что такого поэта, как Виктор Самознаев, не существует в природе...

– Похоже, я знаю, о ком речь... А все-таки: как вам пришло в голову заняться издательским делом? Я знаю, что вы много лет служили в армии, потом занимались коммерцией...

– Я родился в Ярославле, жил в этом городе, ушел в армию – думал, что на три года, а получилось – на двадцать шесть. Служил в Военно-воздушных силах в должности политработника, заканчивал пропагандистом в авиационном полку. Занимался агитационно-пропагандистской работой – и эта работа помогла мне очень плавно, без болевых ситуаций адаптироваться затем в гражданской жизни, в бизнесе. В 1992 году я поступил на работу в брокерский дом «Апостол» в качестве рекламного агента. Начал делать «щиты наглядной агитации», как мы их тогда называли... а на самом деле это были чистой воды рекламные щиты. Вообще, первое рекламное агентство, созданное в

Ярославле, было создано с моим участием – вместе с Игорем Платовым мы организовали фирму, которая так и называлась: «Городское рекламное агентство».

– **Ваша житейская биография, похоже, очень характерна для времен рубежа веков. Это судьба одного из советских офицеров, который после развала империи смог найти себя в новых условиях, переквалифицироваться, сменить профессию...**

– Не знаю, что говорят другие бывшие офицеры, а я вот не брошу камня ни в Советский Союз, ни в компартию. Скажу так: всю прошлую жизнь я был вполне подготовлен к жизни новой – той, которая наступила после развала Союза... Партия, советский строй дали мне образование, профессию, сформировали меня как личность – и своего партбилета я не сдавал и не сжигал...

– **Неужто и на «левые» демонстрации ходите?**

– Нет, не хожу. Туда ходят люди, которые себя в новой жизни не смогли – или не захотели найти. Я же «демонстрирую» другое – то, что я смог сделать сам, своими руками, головой.

– **Как скоро вы почувствовали, что прочно стоите на ногах в рыночной России? С точки зрения «материальной», в том числе... Сколько лет вам пришлось биться за это?**

– Мне совершенно не на что обижаться! Я уволился из Вооруженных Сил с очень приличной пенсией военного пенсионера. А в брокерском доме «Апостол», куда я поступил, мне стали платить зарплату, равную двум этим пенсиям – да еще и индексировали постоянно эту зарплату. Нищим, бедным я себя никогда не считал – хотя и к числу богатых не могу себя отнести. Средний класс? Наверное, да.

Работая в «Апостоле», я столкнулся с необходимостью рекламирования услуг этого предприятия. В 1994 году принимал деятельное участие в издании фотокалендаря Сергея Зверева «Настроение Ярославля» – в этом проекте были задействованы рекламные деньги четырнадцати предприятий малого бизнеса нашего города. «Апостол» был генеральным спонсором проекта.

С этого календаря, – в нем мы попытались показать красоту наших ярославских храмов, – и началась моя издательская деятельность: я увидел, какие возможности скрываются тут.

– **А до этого вы не имели представления ни о печатных формах, ни о рулонах бумаги, ни о верстке, ни о гарнитурах шрифта, кеглях, интерлиньяже, трэке...?**

– Где-то за два года до увольнения из армии я прочитал журнал, – служил я тогда на Украине, – и в этом журнале были три выпуска под названием «Как самому сделать книгу?» Там была полная инструкция – как начать и чем закончить, вплоть до переплета, до обложки. И я, тогда майор Советской Армии, тогда же попробовал соорудить что-то вроде книжки.

– **Чтобы делать книжку – надо книжку любить... А откуда у вас эта любовь? С детства были «книжным червем»?**

– В детстве мне было не до чтения. Наша семья жила на Сажевом поселке... если вы в Ярославле спросите любого человека моего возраста, кто это такой – «парень с Сажевого поселка», то сразу получите ответ: это бандюга, хулиган... Пить, курить и разговаривать тамошние ребята начинали одновременно, было нам не до книг. Я родился в 1946 году, мама нас троих воспитывала одна, работала она грузчиком на сажевом заводе, в мужской бригаде. Называли нас не иначе, как «крапивники», «выблядки». Безотцовщина, голодуха...сливочное масло я впервые попробовал только в пятнадцать лет. Какие там книги...читать умел – и ладно!

Но вот в девятнадцать лет моя первая девушка дала мне прочесть книгу Тургенева «Ася» – и эта книга меня потрясла. С той поры и началась моя любовь к книгам...

– **Все книжные издатели, насколько я их знаю, любят книгу как вещь, как феномен. Они любят держать книгу в руках, любят качество изготовления, глядят переплет... других издателей я не знаю. И вы такой же?**

– После окончания военного училища я приехал на Дальний Восток, в воинскую часть – и стал служить политработником. Нас, поли работников, включали в разные комиссии, которые, в числе прочего, распределяли книги – с последними, вы помните, в Советском Союзе была напряженка. Даже мода тогда была такая – собирать книги «по корешкам»... вот и я, грешный, собрал очень приличную библиотеку. Мы тогда даже хвастались друг перед другом – а у меня есть вот то, а у меня – это... Помню, была такая серия «Классики и современники»...

– **Клеевой переплет, тонкая обложка...**

– Да, именно так. У меня таких книг было очень много. Правда, тринадцать переездов по службе – раз в два года я переезжал в новый гарнизон – эту мою библиотеку основательно растрясли. Но началось всё тогда, в советские времена.

– **Я тоже офицер запаса, в армии служил, офицерские семьи видел... Разные были офицеры, Виктор Николаевич. Кто-то книжки собирал, кто-то из спортзала не вылезал, а кто-то и «на грудь принимал» регулярно...**

– Мне повезло с семьей: жена юности моей была филолог, литератор, выпускница Ярославского пединститута. Она меня и развивала в смысле книг, ориентир овала, что именно надо покупать. Но и сам я мараю бумагу постоянно, началось это в 1964 году и продолжается по сей день.

– **Всё с вами ясно... пропащий человек! Но шутки в сторону, вернемся к брокерскому дому «Апостол». Вы создали издательство после ухода с должности рекламного агента?**

– Нет, после «Апостола» в моей биографии было одно муниципальное предприятие, где я осуществил еще несколько издательских проектов. Мы издали сувенирную карту Ярославля, туристическую карту... а в 2001 году я пришел в НТЦ «Рубеж», на предприятие малой полиграфии, в печатный цех – там-то, примерно, через полгода, и начал издавать книги. Известный в Ярославле поэт Леонид Королев предложил мне попробовать издать его книжку. Тут -то всё и началось!

– **Известный поэт пришел к мало известному коммерсанту – и на стыке поэзии и коммерции родилось книжное издательство?**

– Королев помог мне не только как поэт – он показал мне, как делается верстка, как вычитывать гранки... он же в газете работал! И я ему в итоге четыре книжки издал. Интересный поэт и, хочу заметить, порядочный заказчик: с оплатой заказа никогда проблем у нас с ним не возникало.

Сегодня в активе издательства «Еще не поздно!» уже 75 изданных книг. Все они разные – разного объема, разной тиражности... авторы тоже разные. Есть те, что известны на уровне общероссийском – тот же Леонид Королев, Валерий Есенков... вы, Евгений Феликсович, тоже пару раз сподобились, помнится. А есть те, что блещут пока только на уровне Ярославщины. Я издавал Ирину Баринову, Александра Богатырева, Евгения Гусева, Олега Гонозова, Евгения Капитанова... всего издано 35 поэтических книжек и с десятков книг прозы. Есть у нас военно-патриотическая тематика, религиозная, есть переводная литература, издавали мы и газету «Ярославская культура»... но самое главное, хочу надеяться, еще впереди. Сейчас издательство «Еще не поздно!» расширяет географию своего присутствия на рынке: мы издали пять-шесть московских авторов, есть уже выполненные заказы из Ханты-Мансийска, из Азербайджана, из Франции...

– А если сейчас к вам придет начинающий автор из ярославской провинции – и попросит издать его книжку тиражом в сто, например, экземпляров – возьметесь? И сколько это будет стоить?

– Возьмемся. Пусть это будет распространенный формат А5, страниц двести... текст, положим, у автора уже набит. За верстку мы возьмем от полутора тысяч рублей, за присвоение международного стандартного номера ISBN – такую же сумму, за библиотечные коды – шестьдесят рублей; цена печати блока – 3-5 тысяч рублей. Потом эту книжечку надо порезать, сшить, сделать обложку... в итоге всё удовольствие обойдется автору в семь-восемь тысяч рублей. Не такие уж и большие деньги, по сегодняшним временам. Да, сто экземпляров – это микроскопический тираж, но наше издательство как раз и специализируется сегодня на малых тиражах.

– Лично я считаю, что для всей Ярославской области достаточно тиража в семьсот экземпляров... у нас ведь всего около пятисот библиотек и сотни полторы киосков розничной продажи периодической печати. При таком тираже автор может буквально в каждую библиотеку и в каждый киоск положить свою книжку. Вот и известность! Но это, все-таки, известность областная... а как вы сотрудничаете с авторами именитыми?

– Леонид Королев порекомендовал мне в свое время в качестве автора писателя - ярославца Валерия Есенкова. Вы знаете, что его повести и романы давно издают столичные издательства, это автор, востребованный на уровне России. Мы познакомились – и я с удивлением и восторгом осознал, что уже написанного материала у этого автора – на 36 томов! Да это ж для любого издателя – клад! Я уже подготовил, на уровне создания оригинал-макета, десять томов, а мечтой моей является издание всего Есенкова... Еще раз говорю спасибо Леониду Николаевичу Королеву за эту подсказку. И, естественно, говорю спасибо генеральному директору «Яринвестпроекта» Николаю Анатольевичу Канину, благодаря помощи которого стал возможен выход в свет уже четырех книг Есенкова – это «Иван Грозный» в двух томах, «Бомарше» и «Ярослав Мудрый»...

– Виктор Николаевич, с какими главными трудностями сталкивается сегодня провинциальный издатель? Вот вы лично – какие трудности испытываете в своей работе? Наверное, заказов не хватает? За авторами гоняетесь, переманиваете их... И с технической базой, наверняка, есть проблемы, признайтесь.



**Издатель + писатель =
книга.
Виктор Самознаев
и Валерий Есенков.**

– Нет. Если брать техническую сторону вопроса, то я сегодня живу, прямо скажу, в тепличных условиях. Их создал для меня Алексей Леонидович Иванов, исполнительный директор нашего хозяйственного общества, то есть, НТЦ «Рубеж». А проблема у меня вот какая: как реализовать всю ту массу заказов, какие уже есть, как успеть их вовремя и качественно выполнить? Поверите ли, уже образовалась очередь авторов -заказчиков... и тут от былой всеядности приходится отказываться. Впрочем, и прежде я не брал в работу литературу сектантскую, литературу, пропагандирующую секс, насилие, сатанизм, винопитие... я всё это сразу отметал. А вот религиозную литературу наше издательство печатает с удовольствием. Недавно сделали пяти тысячный тираж книги блаженного Иоанна «Соловки: вторая Голгофа»; это книга об истории российской православной катакомбной церкви, о духовном подвиге русского священства. Такие книги формируют душу читателя, поднимают его над обыденно стью, заставляют задуматься о высоком.

– **Очень хорошо! Наш журнал также ставит своей целью именно это; значит, мы делаем с вами одно дело. Поздравляю ваше издательство с пятилетним юбилеем, коллега! Новых книг вам, новых авторов, новых заказчиков!**

Напоследок мне хочется сказать еще вот о чем. Как известно, в начале прошлого века в Ярославле действовало книгоиздательское предприятие известного русского просветителя Константина Некрасова, племянника великого поэта. Его издательство, выпускавшее книги Бориса Зайцева, Николая Клюева, Константина Бальмонта, Валерия Брюсова, Андрея Белого, Федора Сологуба, Владислава Ходасевича, Владимира Короленко, Ивана Бунина, стало заметным явлением тогдашней общероссийской культурной жизни (об этом наш журнал писал еще в 2003 году, во втором номере). Отрадно, что эта традиция продолжилась в новом веке – сегодня в Ярославле и области действует, по скромным подсчетам, больше десятка издательств, и крупных, и мелких. Это означает, что книга не уходит из нашей жизни, чтение остается насущной потребностью русских людей. В этом – залог грядущего процветания нашей страны, ее духовного роста.

Виктор Николаевич, этот номер журнала скоро ляжет на полки каждой областной и каждой центральной районной библиотеки девяти областей Центральной России. Как могут будущие авторы, будущие ваши заказчики связаться с вашим издательством, с вами?

– Вы очень хорошо заметили, что роль книги в нашей жизни очень велика. Сейчас среди молодежи бытует мнение, что книгу заменит Интернет... Я с этим совершен но не согласен. Книгу заменить не может ничто! И когда я беру в руки очередной томик, выпущенный нашим издательством, всегда ощущаю гордость – за труд автора, мой собственный труд, труд моих сотрудников. Я осознаю, что мы делаем очень большое дело, пусть и в меру своих скромных сил, работаем на благо отечественной культуры.

А связаться с нами очень просто. Наш адрес: 150040, Ярославль, улица Володарского, 103, оф. 311, издательство «Еще не поздно!». Телефоны: (4852) 72 -72-16 – с 9.00 до 18.00; 73-51-00 – с 18.00 до 21.00. Звоните, приезжайте, предлагайте ваши рукописи!

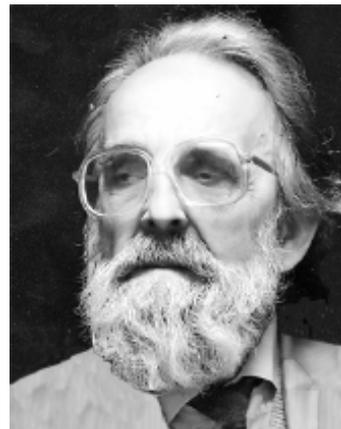
Записал Виктор Жуков.

ПРОЗА

Юрий Красавин

Холопка

РОМАНТИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ



1.

– Раиска, поди за Белкой! – приказывает мать. – Опять эта гулена ушла неведомо куда. Коров две, и обе одной масти, но одна уже пожилая – это Астра, она далеко от дома никогда не уходит; а Белка молода, вторым теленком только, вот она -то и есть гулена.

– Да что я, нанялась за нею ходить? – привычно огрызается Раиска. – Пусть шляется хоть до утра.

– Семнадцать лет девке – эва какая кобылица вымахала! – а рассуждает, словно дите по третьему годичку, – столь же привычно ворчит мать.

Это она, между прочим, обращается за сочувствием к Астре, у них полное взаимопонимание: обе матери, у обеих по дочери, у одной Белка, у другой Раиска.

– Поди, поди... Да не гони ее шибко! Она у нас выменем слаба, все молоко разбрызгает, растеряет.

Белка не боится ни прута, ни волков, ходит вольно: в деревне на месте исчезнувших домов – заросли черемухи, тополиной молодежи, а меж ними высокая, сочная трава; да и вокруг по бывшим усадьбам, где стояли когда-то риги, сараи, и на околице, где в пору давнюю были скотные дворы, есть чем потешить брюхо такой солощей скотинке, как Белка. Есть еще выгон, где теперь пасутся лишь

Юрий Васильевич Красавин родился в 1938 г. в селе Мелковичи на Новгородчине, ребенком пережил ужасы немецко-фашистских лагерей. После освобождения жил на родине родителей, в Калязинском районе Калининской (ныне Тверской) области. Окончил Калязинский машиностроительный техникум (1959) и Литературный институт им. М. Горького (1969). Работал монтажником на стройках Красноярска, инженером-технологом на Красноярском комбайновом заводе, конструктором на фаянсовом заводе в Конакове, учителем черчения в вечерней школе, журналистом в областной газете «Калининская правда».

Печатается с 1958 г. Автор около полутора десятков книг прозы, вышедших в столичных издательствах. Романы, повести и рассказы Ю.Красавина публиковались во многих литературных журналах, в т.ч. «Наш современник», «Москва», «Новый мир», «Знамя», «Октябрь», «Роман -газета», «Нева», «Звезда», «Дон», «Север», «Подъем», «Волга» и др. Роман Ю.Красавина «Мастера» был удостоен в 1984 г. всесоюзной премии им. Н.Островского. Член Союза писателей СССР с 1972 г., ныне – член СП России.

Живет в г. Конакове Тверской области.

© Юрий Красавин, 2006.

вольные стаи дождевиков да шампиньонов, и поля сеяные... В прошлом году эта холера обвела на озими, чуть не подохла; хотели уж зарезать, да некому – нет в Сутолмине ни одного мужика, все повывелись. Однако вот отпышкалась, отвалялась... Слава Богу, нынче нет поблизости озими, а далеко идти Белке лень, да и интереса нет: от здешней ли хорошей травы другой искать!

Года три-четыре назад, когда Раиска была девчонкой, мать заставляла ее пасти своих коров, но Астру-то чего пасти – она и так никуда не уйдет. А вот к Белке надо четырех пастухов приставить, и все равно не устерегут. Пробовали на привязи эту скотинку держать, но и веревки такой крепкой нету. Теперь отволели обе, никого не слушаются – и Белка, и Раиска. Конечно, им хорошо так-то, и зря их матери беспокоятся.

Смеркалось; трава покрылась росной испариной, Раиска шла босая, потому ноги стали мокры и заглодали.

– Белка! Белка!

Коростель скрипел в низине, где уже поднялся туманец слоистый – если идти там человеку, голова будет видна, а остальное утонет в белом молоке. На закатном небе самолет вычерчивал то ли молочную, то ли меловую дугу. Куличок просвистел над головой Раиски – опаздывал к своей куличихе с куличатами.

Если б не белая масть коровы, ни за что не найти бы гулену там, где она нынче паслась, – в кустах вдоль старого проселка, по которому нынче никто не ездит. Она б и заночевала здесь, с нее станется.

Вот уж кому хорошо живется на свете, так корове Белке: гуляй себе целыми днями, никакой работы – картошку не окучивать, траву не косить, сена не сушить, гряды в огороде не полоть, на рынок в город пудовую кладь не возить.

Раиска в досаде хлестнула Белку прутом:

– Ах ты, карамора кривохвостая!

Корова неодобрительно оглянулась, но шагу не прибавила. Потому не прибавила, что умная: молоко уже побрызгивало на траву с ее сосков, а что будет, коли побежит?

– Шляпка... ни стыда, ни совести, – выговаривала Раиска рассерженно. – Не по первому годiku – эва какая вымахала: с вагон! А все бы прыгала да скакала. И в кого задалась? Мать-то у тебя смиренница. Правда, отец неведомо кто...

Тут она кинула взгляд на Яменник – и не то, чтобы вздрогнула, но этак опешила, приостановилась.

Яменник – лесок непутевый; сосны да ели растут в нем почему-то корявые, годные только на дрова. Да и тех не добудешь: ямы да канавы тут, обомшелые камни да густо разросшиеся кусты бредины. А еще могучие кусты можжевельника – таких нет нигде: в два человеческих роста и выше, да такие плотные, что в каждом можно спрятаться, не увидит никто.

Зимой слышен из Яменника волчий вой... или словно бы крики, стоны. Выйдешь в морозную ночь да при полной луне – а оттуда: у-у-у... Жуть возьмет! Хорошо, что лесок этот от Сутолмина недалеко – небось, километра полтора или два до него.

Говорят, в первую мировую в Яменнике прятались дезертиры; у них там были землянки, запутанные лазы в чаще. Мужички эти ходили отсюда на дорогу -каменку, грабили проезжающих, а из деревень дальних крали девок молодых да красивых. Ну, насчет девок явное вранье, а вот все остальное про дезертиров сущая правда – были они местные, кое-кого помнят и донныне по именам. Небось, жен своих и крали, а вернее, сами те жены к ним похаживали.

Дезертиров не стало, а лесок этот все равно пользовался нехорошей славой. Даже когда Сутолмино было еще многолюдной деревней, летом никто не ходил в Яменник за грибами или за ягодами, хотя говорили, что и того, и другого там даже в неурожайные годы довольно. Подойдешь ближе и видишь: на той стороне пруда или за ямами рдеет земляника... или рыжики рассыпались стайкой. Но почему-то лезть за ними через ямы да через кусты охоты нет. Пропадай она, ягода; пропадай и грибы.

Единственное, из-за чего, хочешь не хочешь, а надо идти в Яменник – это можжуха. Без нее как кадки под огурцы да грибы парить? Можжущный пар – самый здоровый. Да и ягоды можжущные от многих болезней помогают – так старухи говорят. Из-за можжухи и ходили в лесок этот. С боязнью, но ходили-таки.

Теперь же увидела Раиска огонь в Яменнике: горел костер. Он угасал, но вдруг разгорелся ярко – небось, подбросили хворосту – и показалось даже, что человеческая фигура мелькнула в свете.

– В Яменнике кто-то грудок развел, – сказала Раиска матери, когда вернулась домой.

– Показалось тебе, – отмахнулась та.

– Ничего не показалось, – упрямилась Раиска. – И грудок, и человек возле него...

Но говорила уже не очень уверенно: может, болотные огни там, и нет никакого костра?

– Сама посуди: кому там быть? – сказала мать, а по голосу слышно: встревожилась. – Ради чего туда кто-то пойдет, да еще на ночь глядя?

– Может, уголовники? – предположила Раиска. – Убежали из тюрьмы...

– Хороший разговор на ночь, – проворчала мать. – Болтаешь неведомо что. Зачем кому-то понадобится Яменник наш?

– Награбленное прячут.

– Самая-то глушь в большом городе, а не в дремучем лесу, – вздохнув, возразила мать.

Еще подумала и добавила:

– Все преступники там, а у нас тут нету. Мы живем чисто.

– Может, дезертиры? Убежали из армии... не хотят служить.

Раиска даже размечталась вслух:

– А что? Поселились двое-трое... построили себе шалашик, грибочки на костре жарят, ягоды собирают... по вечерам песни поют. Надо будет сходить послушать поп озннее.

– Я тебе схожу! – пригрозила мать. – Ишь, глупости-то сколько в голове!..

2.

А на другой день было воскресенье. Раиска ездила продавать творог и сметану: в Сутолмине, кроме Белки да Астры, еще четыре коровы у разных хозяев, но хозяева эти и на базар не ездят – немощны. Вот и поручили это дело Раиске. Она продавала свою и чужую сметану да творог два раза в неделю – по четвергам и воскресеньям.

На обратном пути из города, когда шла по проселку от деревни Дятлово, и уж свое Сутолмино было на виду, настиг ее дождь. То есть не настиг еще, успела встать под дерево – это была одинокая елка возле клеверного поля. И вот, стоя тут, увидела странного для здешних мест человека.

Дезертиров не стало, а лесок этот все равно пользовался нехорошей славой. Даже когда Сутолмино было еще многолюдной деревней, летом никто не ходил в Яменник за грибами или за ягодами, хотя говорили, что и того, и другого там даже в неурожайные годы довольно. Подойдешь ближе и видишь: на той стороне пруда или за ямами рдеет земляника... или рыжики рассыпались стайкой. Но почему-то лезть за ними через ямы да через кусты охоты нет. Пропадай она, ягода; пропадай и грибы.

Единственное, из-за чего, хочешь не хочешь, а надо идти в Яменник – это можжуха. Без нее как кадки под огурцы да грибы парить? Можжущный пар – самый здоровый. Да и ягоды можжущные от многих болезней помогают – так старухи говорят. Из-за можжухи и ходили в лесок этот. С боязнью, но ходили-таки.

Теперь же увидела Раиска огонь в Яменнике: горел костер. Он угасал, но вдруг разгорелся ярко – небось, подбросили хворосту – и показалось даже, что человеческая фигура мелькнула в свете.

– В Яменнике кто-то грудок развел, – сказала Раиска матери, когда вернулась домой.

– Показалось тебе, – отмахнулась та.

– Ничего не показалось, – упрямылась Раиска. – И грудок, и человек возле него...
Но говорила уже не очень уверенно: может, болотные огни там, и нет никакого костра?
– Сама посуди: кому там быть? – сказала мать, а по голосу слышно: встревожилась. – Ради чего туда кто-то пойдет, да еще на ночь глядя?
– Может, уголовники? – предположила Раиска. – Убежали из тюрьмы...
– Хороший разговор на ночь, – проворчала мать. – Болтаешь неведомо что. Зачем кому-то понадобится Яменник наш?
– Награбленное прячут.
– Самая-то глушь в большом городе, а не в дремучем лесу, – вздохнув, возразила мать. Еще подумала и добавила:
– Все преступники там, а у нас тут нету. Мы живем чисто.
– Может, дезертиры? Убежали из армии... не хотят служить.
Раиска даже размечталась вслух:
– А что? Поселились двое-трое... построили себе шалашик, грибочки на костре жарят, ягодки собирают... по вечерам песни поют. Надо будет сходить послушать попозднее.
– Я тебе схожу! – пригрозила мать. – Ишь, глупости-то сколько в голове!..

2.

А на другой день было воскресенье. Раиска ездила продавать творог и сметану: в Сутолмине, кроме Белки да Астры, еще четыре коровы у разных хозяев, но хозяева эти на базар не ездят – немощны. Вот и поручили это дело Раиске. Она продавала свою и чужую сметану да творог два раза в неделю – по четвергам и воскресеньям.

На обратном пути из города, когда шла по проселку от деревни Дятлово, и уж свое Сутолмино было на виду, настиг ее дождь. То есть не настиг еще, успела встать под дерево – это была одинокая елка возле клеверного поля. И вот, стоя тут, увидела странного для здешних мест человека.

3.

Вскоре она еще раз увидела того странного человека. Случилось это в поле, когда ходила Раиска доить корову в полдень. Может быть, не его видела, а у же другого?.. Потому что был он теперь без тросточки, и не в кремовом костюме, а в джинсах, в грубой рубахе с закатанными рукавами и в резиновых сапогах. И помоложе прежнего казался, помужественнее. Но кепка с козырьком та же!

Человек этот сидел на холмашке, к ней спиной. Не видя ее, оглядывал широкое поле, словно примеряясь к нему. Вдруг поднялся и пошел легкими шагами, но не к Яменнику а в противоположную от него сторону. Однако же Раиска почему-то уверилась, что это все-таки тот же самый тип, который накануне перед дождиком облачился в прозрачный плащ. Только теперь оделся иначе.

Загадка все время занимала ее мысли, не отступая. Потому на другой день Раиска сказала матери, что пойдет пособирать землянику по канавам: небось, созрело много. Прихватила с собой баллончик газовый (на всякий случай, для обороны) и отправилась сразу к Яменнику. Из деревни шла мимо сарая с провалившейся крышей, по старой канаве, на которой, и верно, тут и там проглядывала спелая земляника. Раиска решила, что соберет ягодки на обратном пути, а теперь ею двигало иное стремление.

Чем ближе подходила она к лесочку, тем настороженней оглядывалась. Почему-то робостно становилось, однако же сладок был ей этот страх, от которого замирало сердце.

Пройти по Яменнику – уж точно, или ногу сломаешь, или шею. Повсюду густая трава, не сразу определишь, насколько глубока та или иная яма и есть ли в ней вода. По буграм

сосны и елки стоят одна другой корявее, меж соснами да елями бредина переплелась, тут же и камни-валуны, некоторые из них, вроде бы, тесаные. Можжевельник растет могучий; в каждом можжевелевом кусте чудится притаившаяся человеческая фигура. Раиска пробиралась, оглядываясь зорко, то и дело прислушиваясь. Она чувствовала себя охотником, а дичью был тот нездешний человек; впрочем, если вдруг он выйдет сейчас навстречу из-за кустов – неизвестно, кому стать дичью, а кому охотником.

Она нашла тропку. Едва заметно, прихотливо тропка эта вилась среди густой растительности, то исчезая, то появляясь вновь. Исчезала там, где под елями стлался игольник, и становилась заметной в траве между кустами. От тропки этой ответвилась другая; тут на развилке стояла Раиска, решая, куда идти. Свернула на правую и пришла к ручью. Он был довольно глубокий, казался даже бездонным: темно в воде, дна не видны, течение медленное. Вброд переходить страшно, и не перепрыгнуть. Но на той стороне ручья в тени кустов прислонено было к березе что-то похожее на лестницу, хотя это была вовсе не лестница.

«Мосточек, – догадалась Раиска. – Он убирает его за собой... чтоб никто не ходил следом за ним. Хитрый Митрий! Но почему, почему он таится? Неужто в самом деле уголовник?»

Открытие перекидного мосточка заставило еще сильнее забиться ее сердце. Она вернулась к разветвлению тропки, стояла тут и, не в силах совладать с усилившимся страхом, отправилась назад, домой.

4.

Вечером она снова видела огонь в Яменнике, но разговора с матерью о том все-таки не заводила. А на следующий день не утерпела, опять решила пойти «за земляничкой». Дошла до того места, где мосточек в кусте бредины, потопталась на берегу, спустилась ниже по течению и тут осторожно вступила в воду. Дно ручья оказалось довольно твердым, но неровным; один шаг оказался неверным, и хоть поднимала она подол выше некуда, все-таки замочилась. Однако перебралась на ту сторону, огляделась, запоминая место брода, потом подошла к стоявшему торчком мосточку, внимательно осмотрела его. Оказалось, он очень хитро сделан: складной, как перочинный нож, из двух секций, и на стыке этих секций – длинные подпорки. То есть, если перекинуть его на другой берег, подпорки эти будут как раз посреди ручья.

«Хитрый Митрий!» – опять отметила Раиска. И дальше пошла по тропинке так же тихо, крадучись. И оказалась у пруда. А оказавшись тут, вздрогнула: на другом берегу, как раз напротив, сидел тот человек, босой, штаны подвернуты до колен. Тросточки не было видно, а все остальное при нем: и кепка с большим козырьком, и трубка, и даже тапочки стояли на берегу, отдельно. Он, конечно же, сразу увидел ее.

– Ты кто такой? – дерзко спросила Раиска, а дерзость была от робости. – Что тут делаешь? Как сюда попал?

Сидел он Бог знает на чем, но очень вальяжно, словно в кресле, и курил. Вообще-то вживе Раиска никогда не встречала человека, курящего трубку. Разве что видела по телевизору: так делают или капитаны кораблей, или артисты, или министры – люди особые. Но чтоб в Яменнике под огромным можжевелевым кустом сидел кто-то и курил трубку... это какая-то нелепость, ей-Богу.

– Кто тебе разрешил? – спрашивала Раиска. – Чего тебе тут надо?

Он продолжал смотреть на нее все так же спокойно и не отвечал ей; только дымом легонько пыхнул – голубоватый, прозрачный завиток поплыл как раз в ее сторону. В этом было какое-то возмутительное пренебрежение, барская презрительность, высокомерие. Захотелось как-то «достать» его, чтоб он хоть что-нибудь сказал.

– Ты кто? Скрываешься от милиции? Или, может, ты сбежал из желтого дома?

Не зная, что еще спросить, она села на берегу, разглядывая сидевшего напротив, за прудом, дачного человека.

– Если ты турист, то почему здесь? – подумав, продолжала Раиска. – Иди на реку, там таких бездельников много – палаток понаставили, удочками махают.

У этого, кстати, тоже палатка поставлена, да столь искусно, что Раиска не сразу и заметила ее за кустами – довольно высокая, под нежно-зеленым тентом, у нее было даже что-то вроде крылечка... От палатки уже натоптана тропа к пруду, здесь сделан мосточек по-над водой, вроде тех, с каких полощут белье. На ветке молодой березы висело широкое полотенце с нарисованным по белому желтым попугаем.

Еще можно было видеть в траве у воды стоявшие друг возле друга блестящие посудыны – котелок, сковородка, миска, чайник.

– Я тебя русским языком спрашиваю: кто такой и зачем ты здесь? Как твоя фамилия?

Он в ответ ни гу-гу.

– А-а, ты, наверное, наркоман... Кайф тут ловишь, да?

– А тебе говорили, девушка, что у тебя ноги кривые? – вдруг спросил он, картинно отнеся руку с трубкой от лица.

Раиска даже встала:

– Че-во?

– Ну-ка, повернись вокруг себя, я посмотрю. Откуда ты, огородное пугало?

Раиска мобилизовалась тотчас:

– Ах ты, карамора кривохвостая! Ах ты...

Но, как на грех, самые обидные, самые действенные слова не приходили ей на ум – те слова, которые сразили бы его наповал.

– Кто твои родители? – продолжил он вальяжно и стал выколачивать трубку о ствол можжевельный. – Небось, отец – прачкин сын, а мать – кухаркина дочь?

Раиска задохнулась в самой настоящей злости, но опять не нашла нужных слов, кроме «кривохвостой караморы». Впрочем, отыскалось «чистоплюй стерилизованный», но дальше опять случилась заминка, хоть плачь. А вообще -то Раиска на язык была бойка.

– Наверно, выросла в коровнике или на конюшне, – сказал, словно сам себе, этот дачный тип, – любя коровий мык и лошадиное ржанье.

– До чего противный! – подивилась она. – Какой противный и отвратительный! Убила бы на месте!

Она топнула босой ногой по земле, наклонилась, подцепила у воды комок грязи и швырнула. Бросок был так силен, что грязь долетела до того берега, а крошки угодили ему как раз на кремовую штанину.

– Ага! – торжествующе вскричала Раиска.

– Какие, однако, дикие нравы у здешних туземцев, – заметил он ровным голосом.

– А вот я тебе сейчас в рожу твою крапленую, рябую...

Она подцепила еще комок и швырнула, но на этот раз без прежнего успеха – грязь картечью сыпанула по воде. А в пруду цвели белые кувшинки... Это немного остудило пыл Раиски: жаль цветы. Услышала, как он спросил сам себя:

– Зачем она пришла? Разве я ее звал?

Надо было уходить. Но ведь тогда получится, что победа осталась за ним, потому что отступление – всегда поражение. Не-ет, погоди! Она опять села на берегу, уперлась подбородком в колени, уставилась на него, испепеляя взглядом.

– Ты из этой деревни? – небрежно спросил он и ткнул трубкой в сторону Сутолмина.

Раиска не ответила.

– Я спрашиваю: ты из этой деревни?

– Ну!

– Боже мой, как ты разговариваешь со старшими! Что такое «ну»?

– Каков вопрос, таков и ответ, – сказала ему Раиска. – Спроси что-нибудь поумнее.

– Ты приезжая или живешь тут постоянно? Отвечай коротко и вразумительно.

– Да я-то здесь сто лет живу, а вот ты кто такой? Чего тебе здесь надо?
Он некоторое время сидел молча, потом повел вокруг себя трубкой, говоря:
– Вся эта округа вместе с окрестными деревнями принадлежала когда-то славному дворянскому роду Сутолминых. Что ты об этом знаешь?
– Ничего не знаю и знать не хочу.
Но она хотела знать, а потому насторожилась и попритихла.
– Вот этот пруд был выкопан крепостными... в том ручье форель разводили... тут по взгорью был сад, цветники...
– А что-то говорили, верно, – вспомнила Раиска. – Будто бы тут помещичий дом стоял с балконом. Преданья старины глубокой...
– Тут жили мои предки, – важно сказал тип с трубкой. – Мы, Сутолмины-Бельские, владели всем этим: полями, лесами, деревнями... и всеми жившими тут людьми.
Тут Раиску, наконец, осенило.
– Барин! – воскликнула она. – Да неужто ты вернулся?! Светик ты наш ясный! Прости, Христа ради, что я с тобой так вот запросто...
Она воодушевилась, словно опору нашла в этом единоборстве.
– Вернулся, помещичек ты наш незабвенный! Назови твоё светлое имечко, господин Сутолмин. Как тебя звать-величать? И расскажи, где ты пропадал? Мы тебя тут ждали, ждали... уж не чаяли увидеть!
Он только посматривал на неё этак снисходительно. Со своего берега пруда оглядывал берег Раискин, при этом покачивал босой ногой. А нога у него была белая, холеная...
– Точно: барин! – она хлопнула себя по ляжкам и залилась смехом. – Взор-то, взор-то каков! А я, выходит, барышня-крестьянка.
– Ты – холопка, – поправил он строго. – Запомни, что я тебе сейчас сказал: ты – холопка.
Слово это не понравилось Раиске, она тотчас ожесточилась.
– Я – крестьянка! А ты бродяга, бездельник, трутень.
– Я дворянин, – сказал он с большим достоинством и стал раскуривать потухшую трубку. – Мое призвание – повелевать, руководить, наказывать на конюшне ленивых рабов и отечески поощрять старательных...
На этот раз Раиска нашла нужные слова и произнесла их уверенно и в достаточном количестве. Это были очень веские слова. Не то, чтобы уж очень оскорбительные для него, но способные «достать» любого.
– Однако, уходи, – сказал он, спокойно выслушав её. – Ты утомила меня. Понадобисься – позову. Не холопье это дело – незваной являться пред светлые барские очи.
– Да пошел ты туда-сюда, а потом еще дальше! – послала его Раиска, вставая. Засмеялась громко и ушла с видом победным.

5.

Но чувства одержанной победы у неё не было. И «ноги кривые», и «холопка» застряли в мозгу. От них вскипала кровь, сердце требовало мщения.

Как он смел, этот жалкий городской чистоплюй, так пренебрежительно, так свысока разговаривать с нею? Как он смел говорить «уходи» и «ты утомила меня»? Да еще и «понадобисься – позову»! Ишь, корчит из себя барина! Да голову ему отрубить за это!

«Видали мы таких... в гробу и белых тапочках».

Вспомнила недавний сон свой: веселый домик с крашеными резными наличниками, с терраской по нижнему этажу, с витыми балясинами... Небось, именно такой и стоял когда-то в Яменнике, и не зря он приснился, но этот тип как-то очень решительно отстранил её

от красивого домика, словно отобрал в собственное владение: «Я дворянин... а ты холопка».

Раиска спросила у матери: неужели это правда, что когда-то на месте Яменника стоял барский дом с прудами и форелью в ручье? Мать сказала:

– Кто это помнит! Тому уж сто лет, или больше. Но рассказывали, что был, будто бы, дом большой – нижний этаж каменный, верхний деревянный.

– А терраска была?

– Может, и была...

– И лестница, небось, с резными балясинами на ту терраску?

– Может, и лестница...

Про свой поход в Яменник и про разговор с «баринном» Раиска матери опять -таки не сказала. И продолжала досадовать, что рано оттуда ушла. Надо было еще поиздеваться над ним: ишь, трубку курит... штаны кремовые носит... тросточка... форели ему захотелось!

– Мам, а у нас в сундуке, вроде бы, старый сарафан хранится?

– То бабушки моей Оксиньи память.... А ей, вроде бы, от своей бабки достался. Его только по праздникам носили.

– А-а, так этот сарафан еще крепостное право помнит! Дай-ка я примерю, гожусь ли в холопки.

– Примерь. Может, впору окажется?

Сарафан был богатый, с вышивками на рукавах, по подолу, на груди, но пахивал нафталином и чем-то затхлым. Однако выглядела в нем Раиска нарядной. Если еще налепить на него заплат...

Вечером, уж в сумерках, с улицы велосипедный звонок прозвякал, скромно так, вежливо – это, значит, Витя Муравьев явился. Приезжает из Овсяникова, а оно в семи километрах от Сутолмина. Что ж, дураку семь верст – не крюк.

Раиска ему из окна:

– Я уже спать легла.

То есть, поезжай, парень, обратно. Велосипедист сразу опечалился.

У Вити прозвище – Муравлик, Раиска так нарекла. Он ростом пониже ее и ужасно прилежный да трудолюбивый – истинно лесной муравей. Все десять классов на одни пятерки прошел. Обалдеть можно! А познакомились, между прочим, в городе, она там сметану да творог продавала на рынке, а он притулился неподалеку к фонарному столбу, все смотрел на нее.

– Чего уставился? – спросила она его. – Глаза намозолишь. Купить, что ли, меня примеряешься?

Он чистосердечно вздохнул:

– Купил бы...

– Так чего ж?

– Денег таких нет...

Она засмеялась.

– Ладно. Ты на велосипеде? Ну-ка, довези меня до автостанции.

Вот так и познакомились. Дело было месяц назад, с тех пор и повадился он в Сутолмино. Приедет уж в сумерках, позвякает, вот как нынче...

Раиска ему из окна:

– Чего тебе надо-то? Зачем приехал? Кто тебя звал?

Он оробело молчал.

Тут мать вмешалась:

– Выйди, выйди! Ишь, спать... Как старуха старая. Парень эва какую дорогу сломал, а ты кобенишься.

– Мало ли их тут понаедет на лисипетах! К каждому и выходит ь? – строптивилась Раиска. – Пусть помучается. А то больно просто: он приехал – я выскакивай встречать.

Однако вышла, уважила чужие страдания... в сарафане прабабкином. Витя аж просиял: так ему понравилась она в новом-то наряде. И оробел еще больше.

Сели на скамейку у стены, окошко над ними тотчас раскрылось: матери охота поговорить.

– Витя, косить начали?

– Косили нынче с утра, – отвечал он вежливо.

– Свою усадьбу или общественное?

– Свою. Да только отца сразу позвали, пилорама сломал ась. Так я один косил.

– Завтра, вроде бы, дождик обещали? Ты сводку погоды не слушал? Как сушить -то будете, если накосили?

– Мам, ну что ты с глупыми вопросами! – возмутилась Раиска. – Ухажер ко мне приехал, а не к тебе.

– С тобой о чем ему толковать? У тебя что ни слово, то поперек.

– Да уж как-нибудь без тебя обойдемся.

– А ты не будь чем щи-то наливают или чем ворота -то запирают. Дай и мне с хорошим человеком поговорить.

– Ой, я не могу! – вскричала Раиска. – Ну и родительница у меня!

Отношения матери с дочерью всегда были на равных.

– Я уезжаю завтра, – сообщил Муравлик тихо. – Вернее, уплываю... на теплоходе.

У него дядя живет в Ярославле, советует племяннику поступить в тамошний университет. Витя, как и Раиска, только -только закончил десятый класс, но еще зимой на областной олимпиаде по математике занял первое место; у него способности ко всем предметам.

– Да уплывай, мне-то что! – сказала Раиска небрежно. – Попутный ветер в зад!

– Раиска, ты как с кавалером разговариваешь! – рассердилась мать в окошке. – Разве так можно? Что он о тебе подумает?

– Ой, да не твое дело! Как хочу, так и говорю. А он обо мне только хорошо думает. Верно, Муравлик?

Он тотчас кивнул утвердительно. Мог бы и не кивать, и так видно, по глазам.

– У нас в Яменнике уголовники поселились, – сообщила она.

– Как это?

– А так. Живут себе... шашлыки на костре жарят. Девочек по деревням крадут и уводят туда. К вам в Овсяниково не приходили?

– Нет, – сказал Муравлик озадаченно.

– А-а, так у вас красть некого! Ни одной девки нет. А если и есть, то кривоногие.

– Что ж тебя не украли? – ревниво спросил Муравлик.

– Они, как волки, возле своего логова не безобразничают. Хотя... погоди, еще украдут.

Мать из окошка:

– Раиска, ну что ты глупости городишь?

– Мам, точно говорю: то овцу уволочут из стада, то девочку из деревни.

– Не слушай ее, Витя. Она у меня из-за угла пыльным мешком нараханная.

Раиска встала и закрыла окошко: не вмешивайся в чужой разговор.

С Витей сидеть – про институт говорить, про компьютеры... Впрочем, иног -да его заносит в дебри другие – исторические, литературные, музыкальные: о «Велесовой книге», о ведической цивилизации... про Атлантиду, которая, возможно, располагалась там, где нынче Северный полюс... про Диогена, ходившего средь бела дня с фонарем... про какого-нибудь Винченцо Филикайя – поэта, жившего Бог весть в каком времени и писавшего вот такие стихи... Далее следовало чтение стихов.

Раиска слушала-слушала, потом подсказывала:

– Муравлик, теперь давай про звезды.

– Про какие звезды?

– А вот если сидят парень с девкой, обязательно он ей про Альфу Центавра, про иные галактики, про межзвездные дожди....

Муравлик смеялся и охотно менял тему историческую на звездную ю.

Пока говорили этак, светлый край неба переместился к востоку. Петухи пропели во второй раз.

– Ладно, спать пойду, – сказала Раиска, вставая. – Поезжай в свой Ярославль. Да гляди, ярославским девкам потачки не давай.

– Как это? – озадачился Витя.

– А не пропускай ни одну, – пояснила она. – Бери за бок и увлекай куда-нибудь.

– На фиг они мне нужны, – фыркнул на это Витя. И попросил: – Посидим еще, а?

– Чего сидеть! За это денег не платят, ни тебе, ни мне. Привет, Муравлик!

И ушла.

6.

А на другое утро про ухажера своего сказала матери решительно:

– Нет, нестоящий парень.

– Это Витя-то? Да лучше его поди найди! Вежливый, самостоятельный, не курит. Из хорошей семьи.

– Откуда ты знаешь про семью?

– Да уж интересовалась. Слухами земля полнится, а Овсяниково не за горами. Отец у него не пьет, мастеровой. Мать – учительница. Старший брат в Калязине каким-то начальником. Плох ли парень Витя!

– Ростом маленький, – подсказала дочь, – шейка тоненькая, ручки почти девичьи... От настоящего-то должно пахнуть табачищем, водошным перегаром или пивом, у него руки должны быть в мозолях и с нестриженными ногтями! И через каждое слово – мат... А этот что? Разве мне такого мужа надо? Ему со мной и не справиться.

– Он еще молоденок. Вот два-три года пройдет – будет такой ли мужик! Еще захочет ли рядом с тобой постоять?

– Таким ухажерам в базарный день цена – рубль пучок, – отрубила Раиска.

Мать озадачилась:

– Да кто ж, по-твоему, лучше-то? Который пьет да курит?

– Вот который толкует про звезды, а сам рукой за пуговицы на кофте дергает или за резинку на трусах. А от этого и дети -то будут ли?

Смех овладел ею.

– Да где ж ты такого бесстыдства набралась? – изумилась мать. – Все время или в школе, или у меня на глазах.

Раиска продолжала хохотать:

– По телевизору, мам! Али не знаешь? По телевизору про что только не говорят! И растолкуют, и нарисуют, и изобразят в лицах, и покажут.

Покачавши головой, мать тоже рассмеялась:

– О, Господи! И верно, такую похабщину иной раз покажут, со стыда сгоришь... А только что мне с девкой-то делать?

– Замуж хочется, мам, – призналась Раиска.

– Да уж больно рано тебе захотелось!

– Пригляжу-ка я себе на рынке какого-нибудь... Выйду замуж, нарожу детей...

Мать напомнила ей:

– Давно ли семнадцать стукнуло?

– В шестнадцать самая пора выходить!

– А вот я тебя на хлеб и воду посажу, будешь знать. Ишь, каждый день сметану лопаешь ложкой, потому и мысли такие.

С Раиской и в самом деле творилось что-то неладное. Вдруг вечером забралась на дерево, что возле дома, смотрела в сторону Яменника: огонек там маячил опять, как и вчера. Стоя в развилине, напевала:

Моя милая вчерась
Физкультурой занялась:
Утром рано по морозу
На березу забралась.

Мать ей снизу:

– Постыдися, тебе замуж пора, а ты по деревьям лазишь!

Раиска ей сверху:

– Это я смотрю, не едет ли мой ухажер на лисипете.

– Что люди подумают, коли увидят тебя там? Скажут: дурочка, не иначе.

– А людей в нашем Сутолмине – полтора старичка да три с половиной старушки.... И все не умнее меня, только что на березы не залезают.

Раиска хохотала там, наверху. План завтрашнего предприятия уже созрел в ее голове.

7.

В Яменнике было тихо. Птички щебетали. Человек у палатки только что вернулся из дальнего похода и устало присел в самодельное креслице. Посидев немного, сходил к ручью и принес оттуда бутылку пива, облепленную песком и тиной. Утвердил возле кресла шаткий столик, добыл из можжевелевого «шкафа» стакан высокий, вдвое выше обычного, граненого, откупорил бутылку и опять сел. Понаблюдал, как пена выбивается из горлышка, налил в стакан – и пил не спеша...

А на том берегу пруда показалась вдруг девка в немислимого покроя сарафане с большими заплатами, пристебнутыми на скорую руку там и сям, в платке, повязанном этак по-старушечьи «домиком», концы стянуты под подбородком. Девка эта хлопнула себя по бокам и возопила:

– Барин! А барин?! Чево надо-то? Али звал, али нет?

«Барин» посмотрел на нее, потом на янтарное пиво, поднимая стакан к солнцу, опять оглянулся...

– Bravo! – тихо сказал он, прихлебнул и, поставив стакан на столик, хлопнул в ладоши несколько раз, словно сидел в театральной ложе.

– Небось, скучал без меня? – продолжала кривляться девка. – Небось, услуженье какое понадобилось?

– Долго не приходила, – сказал он. – Я подумал: не ударились ли в бега. Любимое холопье дело – от бар бегать.

– Куда я денусь! – отвечала Раиска. – Ни пачпорта, ни денег. И лапти худые, новые сплести тятеньке недосуг: на барщине мы с утра до вечера!

– То-то, – сказал он. – Убежишь – велю поймать, а поймавши, отвести на конюшню, снять штаны и выпороть.

– Где это видано, барин, чтоб холопк и в штанах ходили! Не-ет, на мне только этот сарафан. А под ним ничего.

– Нешто я польщуся? – отозвался он. – Меня царицы соблазняли, да я не поддался!

Знакомая по любимому кинофильму фраза эта заставила Раиску засмеяться, сбила с роли.

– Ты старый уж, барин! – укорила она. – Немошный, ни на что не годный, как карамора. Сходи на богомолье в Троице-Сергиеву лавру, там на тебя епитимью наложат за грехи; или в Баден-Баден поезжай – минеральную воду пить от коллик в боку.

– Была б ты барышней – другое дело: может, и снизошел бы, – не слушая ее, рассуждал он. – А до холопок мы, Сутолмины, не охотники. Мы породы своей не портим.

– А право-то первой ночи? – возразила Раиска. – Не смерды, не холопы его придумали, а ваш брат, крепостник да рабовладелец. Вы испокон веку до крестьянского тела охотники были.

В ответ на это он сказал довольно спесиво:

– Мы, Сутолмины, – столбовые дворяне, а со стороны бабушки Агриппины Матвеевны восходим к князьям Бельским. Но высоким происхождением не чвани лись, у своих дворовых даже детей крестили – это правда. Но чтоб за крепостными девками бегать, то считали за потерю чести и достоинства. Даже если некоторые из девок и слышали про Баден-Баден, все равно мы до них не снисходили..

– Теперь я понимаю, что такое классовая ненависть, – Раиска и впрямь воспылала этой самой ненавистью. – До чего же я тебя ненавижу! Убила бы на месте!

– Видишь ли, – объяснил он, отхлебывая опять из стакана янтарное пиво. – Мы, аристократы, не могли восхищаться крестьянками. Чем там можно соблазниться, посуди сама. Вот хотя бы по части разговорного жанра: что может предложить для беседы холопка? Удойна ли корова... сколько навозу вывезли на поля... кобыла ожеребилась, овца объягнилась, кошка окотилась... каша пригорела, горшок раскололся.

– Противней тебя никого нет, – сказала Раиска.

– А барышня... о, с барышней поговорить – праздник для души! Она, черт побери, и по-французски, и по-аглицки... Про Мастера и Маргариту, про принцессу Диану, про Мэрилин Монро, про Грига и Глюка... про модернистов, абстракционистов, импрессионистов...

Пиво в его стакане кончилось, и он как-то очень изящно, словно сам собой любуясь, налил еще. Посмотрел стакан свой на свет и про должил:

– Опять же, то взять в рассуждение: тело у холопок от физического труда может ли быть красиво! Животы от репы да брюквы велики, кожа от домотканой одежды груба, лица и руки обожжены солнцем, волосы немты и пахнут овцой...

– Утопить тебя мало в этом вот пруду, – решила Раиска. – Или в колодце, как ведро. Тут где-то старый колодец есть.

– Иное дело – барышни или барыни, – продолжал он, покачивая ногой, и вид при этом имел самый мечтательный. – Они вырастали в холе и неге, в шелках да батистах, спали на перинах, ходили по коврам да по паркетам, потому у них ножки точеные, талии тонкие, ручки словно фарфоровые, пальчики длинные, ноготочки розовые, словно перламутровые, волосы шелковистые, кожа нежна... Вот что такое барышня!

Раиска ухватила обеими руками подол сарафана, одним рывком завернула на голову и сбросила на траву, оставшись в чем мать родила. Тихонько мурлыкая, осторожно ступая по игольнику, спустилась с берега и – ах! – упала, опрокинувшись на спину в воду, как всегда делала, когда купалась в незнакомом месте, не зная глубины.

– Барин! – сказала она оттуда. – Жарко, чать. Поди со мной купаться.

Но тот сохранял полное спокойствие.

– Иди ко мне, – звала холопка. – Али стыдишься раздеться? Небось, ноги волосаты, пузцо арбузиком, суставы скрипят...

Он встал, и Раиска тотчас подалась к своему берегу. Нет, он не намеревался купаться с нею. Да ведь и она не хотела этого! На черта он ей сдался? Просто у нее не было иного способа сбить с него это высокомерие. А тут почувств овала опоры в их противоборстве: он стар, а она молода. Он некрасив, коли разденется, а она как раз напротив. Чего ей стыдиться!

Вышла из воды, не жеманясь, провела несколько раз по груди да по бедрам ладонями, сгоняя с тела капли воды и прилипшую рясу.

– Чтоб тебе по ночам это снилось, – приговаривала она. – Чтоб тебе не спалось, проклятому! Чтоб ты зубами ляскал, как лиса на виноград.

– Невозможно себе представить, – сказал он сам себе, но Раиска услышала, – чтоб так вела себя пушкинская барышня-крестьянка. Налицо явная испорченность нравов. Вот что такое оставить своих подданных без барского присмотра.

Он опять сидел в прежней позе, покачивая ногой, и смотрел на нее, словно она на сцене, а он в зрительном зале.

– У тебя никогда не было девушки так прекрасно сложенной, как я, – заявила Раиска, вставши в полный рост перед ним и закручивая в узел мокрые волосы. – У тебя никогда не было и не будет девушки с такими густыми волосами, как у меня, с такой восхитительной кожей, с такими красивыми прямыми ногами. Меня, холопку, а не какую-то там барышню можно поставить обнаженной в самом людном месте – все будут любоваться, и ни у кого не возникнет грязных мыслей на мой счет, потому что я прекрасна, и нет во мне изъяна! Ты понял, помещичье отродье?

– Кобылице моей в колеснице фараоновой я уподобил тебя, – в задумчивой тональности произнес «помещик».

Текст библейский, знакомый ей, он читал хорошо, но Раиска была очень ожесточена.

– Во тебе! – сказала она, показав ему кулак, после чего надела сарафан столь же быстро, как и сняла, словно это мешок: он был ей великоват.

– Не смотрите на нее, что она смугла, – проговаривал он негромко и задумчиво, – ибо солнце опалило ее: сыновья матери разгневались на нее, поставили стеречь виноградники, а своего виноградника она не стерегла...

– А барышни твои, – уж совсем добивала она его, – что в шелках да батистах выросли, худосочны, прыщавы, у них бледная немочь или еще что похуже. От них и дети родились золотушные да чахоточные, потому вы, бары, и вымерли, как динозавры. Произошел естественный отбор.

– Запомни, холопка, – сказано ей было с другого берега, – никогда я не польщусь на девицу неблагородных кровей.

– До чего я тебя ненавижу! – покачала головой Раиска. – Прямо убила бы на месте, нисколько не жалко.

И повторила про классовую ненависть, которую она теперь испытывает в полной мере.

– Скоро наш российский парламент примет закон о возвращении родовых владений прежним хозяевам, – невозмутимо продолжал он. – Вся эта земля будет моей...

– Надейся, дурачок. Держи карман шире, авось упадет тебе богатство с неба.

– Это неотвратимо, как восход и закат солнца. У нас там свои люди, все схвачено. Закон уже написан, депутаты подготовлены. Как только его примут, я не промедлю ни минуты, вступлю во владение моим родовым поместьем.

– Размечтался, глупенький!

– Думаешь, для чего я тут живу вот уже две недели? – спросил он.

Раиска за ответом в карман не лезла, ответила тотчас:

– Дурью маешься и не лечишься.

– Для того, чтоб напиться этой водой, этим воздухом, чтоб тело мое – оболочка моей души – постепенно обрело здешние микроэлементы. Понимаешь? Процесс вступления моего во владение этой землей, процесс принятия наследства уже начался!

– А если поместье тебе не вернут, что тогда?

– Я его выкуплю, – заявил он без колебаний.

– Деньжонок-то хватит ли, ваше благородие? – осведомилась Раиска со всей возможной едкостью, на какую только была способна.

– Зови меня «ваша светлость», – поправил он невозмутимо. – Потому что, как я уже сказал, корни дворян Сутолминых одной ветвью уходят в род княжеский. Это тебе о чем-нибудь говорит?

– Еще бы! Говорит, на чьей сороке изба сидела.

– А что касается денег, то у нас, у Сутолминых, счет в аргентинском банке – хватит, чтоб купить и вашу деревню, вместе с тобой, и окрестные поля, и леса.

Сказал бы он «швейцарский банк», Раиска не поверила бы. Но «арге нтинский» немного смутил ее.

– Не заплошает от этого? – спросила она. – Если сильно большой кусок, можно подавиться.

– Я тут поставлю домик в виде терема, – продолжал он, не обращая на ее слова никакого внимания. – Пруд велю расчистить, запустить зеркального карпа и лебедей, в ручье будет плавать форель... Дом поставлю в два этажа, по верхнему этажу терраска круговая. К терраске этой лестницы витые с двух сторон... и парадный подъезд с колоннами.

Смутилась еще больше Раиска, слушая его: он нарисовал то, что она видела во сне! А он продолжал:

– Терраску велю сделать с резными балясинами и деревянными ре шетками, по ней плющ и виноград вьются. Перед домом, вот тут, гиацинты, хризантемы, астры... От крыльца – дорожка вокруг пруда и мостик деревянный через ручей вон там. Будет и сад, будут и беседки в саду, и водяная мельничка для забавы. Конюшню заведу с п ородистыми лошадьми...

Конюшня да мельница – ладно, Бог с ними. Но он завладел Раискиным теремом! Он сделал это по-барски нагло и бесцеремонно – ограбил ее!

– Как только ты поставишь тут свой дом, так я подпущу ему красного петуха, – твердо пообещала она.

– Почему?

– Мы не потерпим притеснений.

– Несчастливая холопка... Скажи, как тебя зовут?

– Меня?.. Раиса Павловна.

– Раиса... – он помолчал, размышляя. – Твое имя обозначает «покорная», «легкая», «уступчивая».

– Ну, так я такая и есть!

– Разумеется.

– А как твое светлое имечко, господин Сутолмин?

– Арсений Петрович. Арсений означает «мужественный». А Петр – «камень».

– Понятно: мужественный камень. Или мужественный пень.

Раиска, довольная, засмеялась.

– А тебя я выдам замуж за нашего кучера, – решил он. – То есть, за моего личного шофера. Он будет учить жену уму-разуму чересседельником или вожжами. А когда родятся у вас дети, они будут служить моим детям.

– Вот тебе! – Раиска сложила пальцы в дулю, показала ему, покрутила. – Мало? – спросила и, поплевав, опять покрутила. – Вот тебе еще.

После чего удалилась с поля боя, не оглядываясь.

8.

В один из двух последовавших затем дней Раиска съездила в город, поторговала сметаной да творогом. Да и успешно поторговала! На обратном пути, подходя к своей деревне, оглядывалась на Яменник. Казалось, вот -вот оттуда выйдет дачный человек с тросточкой и с прозрачным плащом в кармане...

– Мужественный камень, – произнесла она вслух.

Что он делает там? Сидит целыми днями, покуривая трубку, и мечтает, как он построит мост через пруд? Все эти помещики, паразитировавшие на крестьянском народе, как раз заняты были праздным сидением, пустопорожней болтовней, и только.

Но ведь это так скучно! День посидишь в безделье, два... Ну, погуляешь по окрестностям. А что потом? Может, он удочку в пруд забрасывает и ловит карасей?

Раиска засмеялась, представив себе, как этот дачник с торжеством вытаскивает из пруда карася величиной со спичку... как жарит его на ск овородке...

Ясно, что это неумный человек, поскольку забрался в корявый лесок, поставил там палатку и живет в ней, воображая себя помещиком.

«А может, он в самом деле отпрыск... Или врет без всякого чуру? Скорее всего, врет. Однако вот бродит по нашим местам... что-то высматривает. Неспроста...»

Тут крылась какая-то загадка, которую следовало разгадать.

Раиска решила, что завтра, или даже сегодня к вечеру, потихоньку прокрадется в Яменник и понаблюдает за ним, никак не обнаруживая себя.

Но намерение ее осталось неисполненным, потому что объект наблюдения сам явился в Сутолмино. Он нахально постучал с улицы в окно Раискиного дома и столь же нахально окликнул:

– Есть кто дома?

Голос уверенный, прямо-таки хозяйский. Таким тоном может приказать и так: встань передо мной, как лист перед травой! Раиска распахнула окошко, выглянула... Он, должно быть, не ожидал увидеть ее, и потому замешкался, не зная, стоит ли ему к ней обращаться.

– Мам, тут какой-то старичок, – сказала Раиска.

– Какой еще старичок? – отозвалась мать недовольно: делом была занята.

– Может и не старичок, но шибко пожилой. И вид жалобный такой.... Наверно, милостыньку просит ради Христа.

Мать уже сообразила, что озорничает дочь над кем -то.

– Чего тебе, дяденька? – спрашивала Раиска. – Хлебушка, что ли, или картошечку в мундире?

Но тут мать отстранила ее от окошка и голосом отнюдь не суровым, а обрадованным воскликнула:

– Ой, здравствуйте, Арсений Петрович!

Эта мгновенная перемена в матери была порази тельна. Они что, уже знакомы? С каких пор? И как это прошло мимо внимания Раиски? Ей даже показалось, что мать не просто оперлась на подоконник, а сделала это картинно, кокетливо. Что-то в ней такое проснулось... Ишь ты!

– Здравствуйте, Галина Дмитриевна, – отвечал он весьма любезно, гораздо любезней, если сравнить, как он разговаривал с Раиской.

– А я думала, вы не придете, – продолжала мать, совершенно позабыв о стоящей рядом дочери. – Уж собиралась нести сама. Авось, думаю, отыщу его в Яменнике, ле сок невелик.

Он что-то ответил ей.

– Да мне труда не составит, – говорила мать. – Я на ногу легкая. Тут и всего-то с километр.

Оказывается, они уже когда-то разговаривали и условились, что для новоявленного помещика будут приготовлены и сметана, и творог... Но не это по-разило Раиску и возмутило, а то, что мать столь легкомысленно готова сама идти... в Яменник!

– Дочка, ну-ка принеси из сеней банку со сметаной и миску с творогом. Я там поставила в холодке.

Раиска, недовольно фыркнув, отправилась в сени, а мать живенько скинула домашний старенький халат и надела платье понаряднее.

– Это еще зачем? – опять фыркнула Раиска, выходя из сеней. – Или праздник нынче?

– Ну как же, чужой человек, – шепотом объяснила мать. – Неудобно.

Она не в окно подала молоко да сметану, а проворно вышла с этим на улицу. Было слышно Раиске, как она там говорила:

– Вот, пожалуйста, Арсений Петрович, в се свежее, сегодняшнее. Не хотите ли луку с грядки, редиски или яичек прямо из гнезда? Раиска! – крикнула она. – Сбегай-ка в огород, нарви луку перьевого да редису, который покрупнее, надергай.

Раиска не отозвалась, будто не слышала – смотрела в щель между занавесками: этот самый Арсений Петрович, одетый в рубашку с отложным воротничком – «Чистоплюй! Профессор кислых щей!» – принял и банку, и миску, принял бережно. И неспешно, аккуратно уложил их в цветную авоську, которую Раиска тотчас возненавидела, потому что на ней изображена была хорошенькая женская головка. И плечики открытые там были, и туго распираемый лифчик.

– Не зябнете по ночам? – спрашивала мать. – Небось, туман там стоит, холодно? Жену надо было с собой прихватить... для тепла.

– Моя хатка с двойной крышей, Галина Дмитриевна, а спальный мешок на гагачьем пуху, – отвечал дачник

«Хвастун», – подумала Раиска и тотчас сказала вслух, в открытое окно:

– Хвастун!

– В нем и в зимние морозы спать тепло, даже в сугробе, – невозмутимо продолжал он, словно и не слышал пренебрежительного замечания из окна. – Я в него не залезаю, сплю поверх, а то жарко. Ночи стоят теплые. Правда, у меня там по утрам и вечерам туманец поднимается, бывает и прохладно.

– Как вы не боитесь там! – удивлялась мать. – Один... в лесу... Я б со страху умерла.

Раиске показалось, что он и мать переглядываются со значением, то есть глазами-то ведут другой разговор.

Что произошло между ними и когда? Накануне, пока Раиска была в городе на рынке?

Дочь отметила: мать по-особенному улыбалась, и голос ее стал мелодичным. «Ишь ты!» – рассердилась Раиска.

– Зато у меня тихо-то как! – говорил дворянин Сутолмин. – Иные лечатся минеральной водой, физкультурой, а я тишиной.

– От какой же болезни?

– От сердечной, Галина Дмитриевна, от сердечной. Была красавица-жена – и нету. Были друзья – покинули. Теперь один, как перст.

И далее они разговаривали в том же духе. Раискино негодование нарастало. Она не выдержала, живо сменила свое платье на тот драный халатик, в котором обычно мыла полы или стирала белье, и вышла на улицу. Арсений этот Петрович стоял возле палисадника, Раискиной матери не было с ним. Раиска с самым независимым видом села на завалинку под окнами. Солнце пригрело завалинку. Раиска прижмурилась от удовольствия, как кошка, и словно бы не обращала внимания на дачника.

– Коленки-то не выставляй этак, – сказал он. – Целомудрие и только целомудрие украшает девушку!

Раиска дернула плечом:

– Почему локти выставлять можно, а коленки нельзя?

– Именно так: локти можно, коленки нельзя. Грация тела рождает грацию души.

– Ты уже старенький, чтоб засматриваться на девушек и на их голые коленки...

Он не успел ей ответить. Раискина мать вышла со двора, неся в фартуке яйца.

– Только что из гнезда, – сказала она воркующим голосом. – Еще тепленькие.

И стала бережно перекладывать яички в его авоську.

– Дочка, неуж трудно догадаться? Сходи в огород, принеси луку перьевого, редиски, укропчику.

– Вот еще! Что я, нанялась услужать кому-то?

Раиска строптиво фыркнула, дернула плечом, но распоряжение матери исполнила: принесла того и сего. А мать и Арсений Петрович продолжали свой разговор. О чем они говорили в ее отсутствие? Вернувшись, она услышала, как он сказал с улыбкой:

– Я могу расплатиться за столь вкусную продукцию долларами! Что вы тут, в деревне, предпочитаете, Галина Дмитриевна? Наши деньги или иностранную валюту?

– В долларах мы не разбираемся, – засмеялась Раискина мать.

И так хорошо засмеялась! Это что же, заигрывает с дачником из Яменника? Завлекает его? Да разве и в эти годы увлекают да обольщают? Ей ведь тридцать шесть...

– Долларов мы в глаза не видели, – продолжала ворковать Галина Дмитриевна. – Не отличим от конфетных фантиков.

– Я могу показать, – он вынул кошелек. – У меня есть и фунты стерлингов, и немецкие марки.

– Прилепи их к себе на задницу, – посоветовала Раиска.

Мать даже опешила, смутилась.

– Ты чего грубишь? – укорила она.

– А что я такого сказала! – возмутилась дочь. – Ничего особенного. Просто я патриотка и денег иностранных терпеть не могу! К тому же мне на базаре однажды пытались всучить фальшивые доллары, напечатанные на ксероксе. А жулик тот был вот такой же гражданин почтенного возраста. Даже, пожалуй, поинтеллигентней.

Арсений Петрович смотрел на нее с искренним интересом. Почему-то его веселили ее обидные слова.

– Не слушайте ее, – уже сердилась мать. – Она у меня грубиянка, совсем от рук отбилась. И в кого такая! Отец – мужик смирный, слова грубого или обидного от него, бывало, не услышишь... да и я сама не сказать, чтоб шибко вольная. Но вот бывает, что и на хорошей яблоне яблочко с дефектом.

– А где же ваш смирный муж? – поинтересовался Арсений Петрович.

Мать немного смутилась.

– На заработки уехал...

– ...и бабу там нашел, – безжалостно добавила Раиска.

После такого заявления разговор пресекся неловкой паузой.

– И что такое, – продолжала Раиска, – все старички лет сорока пяти норовят на молоденьких жениться! Что им за сласть такая?

Мать ей строго:

– Ну, ты отца не суди, не твое это дело. Чего не понимаешь, о том помалкивай!

– А что я такого сказала?

– Я тебе постоянно твержу: отец у тебя неплохой. Другой уехал бы и забыл, а этот и навестит, и деньжонок пришлет. Понимает, что дочка у него в невесты выходит, наряжать ее надо.

– Замуж пора отдавать, – сказал их собеседник. – Ишь, в ней шалая кровь бродит. Долго ли до беды!

– Да ведь семнадцать только-только стукнуло, рано еще замуж, – усомнилась мать.

– Какое там рано! – возразила Раиска. – В самый раз.

Дачник засмеялся:

– Бойка она у вас на язык, Галина Дмитриевна.

– Куда как бойка! Отец обещал устроить ее в городе на курсы золотошвеек. Уж такая ли хорошая работа, да не хочет эта привереда. А я не знаю, как и быть. Мне ее от себя отпускать... как я тут одна? Деревня у нас безлюдная, особенно зимой. Однако и так подумаю: что ж ее возле себя держать! Ей свою жизнь выстраивать надо.

Дочь вздохнула:

– Придется отпустить. Не взаперти же держать!

Он опять засмеялся. Его явно забавляло, как хорошо играет Раиска свою роль. Кажется, он понимал, что все это представление затеяно ею ради него, только ради него.

– Того и гляди, глупостей наделает, – сказал он, явно подтрунивая над Раиской. – Отдайте ее замуж! И пошли ей Бог бдительного мужа.

– Хоть бы какого-нибудь дурачка, или старичка, – поддакнула Раиска.

– Да я уж приглядываю за ней, – доверительно сказала мать. – Ухажер приезжает, так я их дальше вот этой лавочки не отпускаю. Сидят на глазах у меня – так-то спокойнее.

Тут Раиска засмеялась:

– Нашла от кого стеречь! Он послушный, как котенок, ручной совсем. Скажешь «сиди» – и сидит. Скажешь «вставай» – встанет.

– Верно, паренек хороший. От него плохого не жди. Да и родители – люди порядочные, достойные.

– А все равно приглядывать надо, – пошучивал Арсений Петрович.

– Конечно, – опять поддакнула Раиска. – Береженого Бог бережет.

Потом разговор был более серьезный.

– Как вы тут живете? – спрашивал гость. – За счет чего? Откуда доход имеете?

– А вот две коровы у нас, – говорила мать, словно отчитывалась, – молочко на рынке продаем, творожок, сметанку. Поросенка выкармливаем, а то и двух. Гусей полтора десятка... Пока до нас налоговая инспекция не добралась, концы с концами кое-как сводим...

Раиска в деловой разговор не встревала. Сидела молча и ждала: скажет ли Арсений Петрович матери, что приходила к нему в Яменник ее дочка – «холопка»? И приходила, мол, и концерт со стриптизом устроила... вполне в духе нынешнего, а не дворянского времени.

Но он не выдал. Значит... значит, это тайна – та самая, которая уже объединяет их, его и Раиску?

9.

Признаться, теперь Раиска более внимательно слушала новости по радио да по телевизору: а что там, в Москве?

«И впрямь, не готовится ли закон, по которому прежним помещикам будут возвращать их владения? – думала она. – Вдруг примут!.. И появится владелец всей здешней земли. Неужто возможно такое?»

Ее занимало: ведь одинаковы название деревни и фамилия бывших тут помещиков. Если и у Арсения Петровича фамилия Сутолкин, то что же, он в самом деле из того роду? Приехал посмотреть на родовые места... и поселился как раз на камнях своего прадедовского дома.

Наряду с возникшим у нее интересом к делам государственным она внимательно присматривалась к матери. Что-то очень уж благосклонно разговаривала та с посторонним человеком. И что-то очень уж задумчива стала с некоторых пор.

– Не сходить ли и мне за земляничкой? – сказала мать, вроде бы, рассеянно. – Варенья надо наварить...

Случилось это на другой день.

– Еще чего! – сурово отрезала дочь.

Они ворошили сено у себя за огородом. О недавнем госте не говорили, но у обоих он был на уме. Сена много, не до гуляний, но вот примечательно, что матери занетерпелось вдруг сходить за ягодами.

– Ты, Раиска, останься дома, да не отлучайся и поглядывай, не нанесло бы тучу. Сено сухое, не дай Бог замочит. А я пособираю землянички.

– Если идти, то обеим, – решительно заявила Раиска.

Но вдвоем идти им почему-то расхотелось.

Некоторое время спустя мать сказала в раздумье, что Арсений Петрович о чем-то очень горюет. Неудобно спрашивать, но, кажется, от него ушла жена.

– И правильно, – одобрила Раиска. – Я б от такого тоже ушла.

– Такой на тебе и не женится, – без обиняков заявила мать.

– Только поманить, – отвечала дочь самолюбиво.

– Что у тебя за язык! – рассердилась мать. – Не всякую глупость, что на ум взбредет, надо вслух говорить. Ладно при мне, я уж к твоим глупостям привыкла, но ведь и при посторонних этак-то брякнешь.

Рассердились обе, молчали, но думали опять о том же.

– Может, она у него умерла? – сказала мать через некоторое время. – Чего-то он не договаривает. Но видно, что переживает очень именно из-за нее. Потому и забился в наш лесок, подальше от людских глаз.

«Конечно, если жена у него умерла, и он по ней страдает, то это меняет дело, – подумала Раиска. – Может быть, зря я с ним так дерзко...»

– Какое-то горе у него, – вслух размышляла мать. – Но вот ведь не запил... Держит себя строго.

– Аристократ, – насмешливо сказала Раиска.

– Чести своей не роняет, – одобрительно отозвалась мать. – Другой ударился бы в запой да в загул, совсем себя потерял бы... а этот мужик настоящий, не тюря.

Раиска ничего не сказала в ответ, но подумала примерно так же. И раскаяние за прошлые свои вольности впервые проснулось в ней.

10.

Прошло два дня, а на третий Раиска по полуденной жаре ходила разыскивать Белку – пора доить, а та пропала. И нашла, и подоила, а на обратном пути пришлось ей идти другой дорогой, да и не дорогой вовсе – просто канавой, так ближе. Тут кусты чередой, меж ними на буграх проплешинки с ярко рдеющими ягодками земляники. Раиска то и дело останавливалась, собирая ягоды в рот... и вдруг увидела за кустами неподвижно лежащего человека. Она замерла и некоторое время стояла, не шевелясь. Так же недвижимо лежал и человек... и был это «помещик», она его сразу узнала.

«Уж не помер ли, болезный? – встревожилась Раиска. – От солнечного стука в такую жару вполне может случиться сердечный или какой-нибудь иной приступ».

Она подошла поближе, окликнула боязливо:

– Эй!

Не пошевелив ни ногой, ни рукой, он открыл глаза – барский взор его был ясен.

– А-а, молочница... холопка...

На этот раз Раиска почему-то не обиделась.

– Говори тихо, не шуми, – предупредил он, зевнув этак сладко: ясно, что спал человек. – Тут рядом гнездышко, в нем какая-то птушечка. Детки у нее там, она их то и дело кормит.

Сказав это, он осторожно встал и протянул руку к ее подойнику:

– Дай-ка сюда ведерко.

– Зачем?

Ишь, какие повадки барские: словно и молоко, и корова Белка уже стали его собственностью.

– Хочу попить молочка.

– Корову нашу не пас, сена ей не косил, а молоко дай?

– Я заплачу золотом! – воскликнул он тоном героя известного кинофильма и отобрал у нее ведро с молоком.

– Я мзду не беру, – отвечала ему Раиска в том же тоне.

– Эта земля моя, – напомнил он. – И трава моя, и даже этот ветер принадлежит мне. И, кстати, обращаться ко мне следует на «вы», потому что мы на разных ступенях социальной лестницы. Я наверху, ты внизу.

Должно быть, он ожидал от нее достойного отпора, но Раиска, вздохнув, призналась:

– А что-то не хочется мне сегодня с вами ругаться.

– То-то, – хмыкнул он и стал пить молоко.

При этом оглядывался на куст, в котором жила птаха, неведомая ему. Переводил дыхание и снова пил, отдувая от края пену.

Такое простое дело, а почему -то приятно было Раиске видеть, как он пьет.

– Нравится вам парное молоко? – спросила она, уверенная, что он ответит утвердительно.

Однако он сказал:

– Вот стихотворная строка древнегреческого поэта Пиндара: «Лучшее в мире – вода». А уж он-то знал толк и в молоке, и в винах. Однако же воде отдал предпочтение. Парное молочко прелестно, однако я тут пил воду из родника, она вкуснее.

– Это неблагодарность по отношению к нашей Белке, – заметила Раиска. – Она обиделась бы, если бы услышала.

– Неблагодарность – худший из пороков, – вроде бы, согласился он и тотчас возразил: – Восхваляя воду, мы с Пиндаром отнюдь не унижаем божественный напиток – молоко. Напротив, мы поднимаем и то, и другое на божественный уровень!

Он и еще попил, после чего вернул ей подвойник со словами:

– Ты так смотришь на меня... Вот о чем я хочу предупредить: ситуация эта очень опасна для тебя, холопка.

– Какая ситуация? – насторожилась она.

– Живешь в захудалой, заброшенной деревне, общаться не с кем... нет у тебя предмета для обожания. И вдруг объявляется человек, умный, красивый, аристократической внешности... почти молодой... и ведет себя странно, необычно: живет в лесу, один... Долго ли тут наивной девушке вообразить о нем черт-те что! Она может влюбиться, а это чревато для нее.

– Чревато чем?

– Разочарованиями! Неразделенностью пылких чувств! Разрушением романтических представлений о мире! Я не могу снизойти до тебя, потому как дворянин и отчасти князь, а ты холопка.

Это был сокрушительный удар, но Раиска устояла. Она сохранила уверенность и во взгляде, и в голосе.

– У меня есть парень, которого я обожаю, – сказала она. – Вот он-то, действительно, и красивый, и умный. Кстати, он расправится с любым моим обидчиком, имейте это в виду. У него есть охотничье ружье, он вызовет любого на дуэль, будь он хоть князь, хоть герцог, хоть принц, и пристрелит, как зайца.

Он покачал головой:

– Твой парень, если он есть, должен быть благодарен мне, и только.

– За что же?

– За бережное отношение к тебе. У тебя шалый возраст... Ты сама не знаешь, чего хочешь, то есть не отдаешь себе отчета. Насчет парня, может, и верно, однако... Я еще раз тебя предупреждаю: ты стоишь на пороге горячей влюбленности в меня. Я же, имей это в виду, не могу ответить тебе взаимностью.

– Ваш брат, старичок, только и смотрит, как бы подцепить кого помоложе, – сказала на это Раиска. – Вашего брата, старичка, мне ничего не стоит охмурить и одурачить. Я могу это проделать и с вами...

– Нет, – убежденно отозвался он. – Этот номер со мной не пройдет.

– Я уже всяких речей наслушалась. Ко мне в городе то и дело: «Ах, я только у вас покупаю и творог, и сметану... Ах, скажите, как вас зовут и нельзя ли с вами встретиться?.. Ах, примите от меня в подарок эти конфеты...»

Насчет конфет она соврала без всякого смущения: никто, увы, не дарил. Да и насчет «встретиться» тоже разговору не было. Но ведь могло быть!

– Запомните на будущее, господин дворянин: коли вы – «светлость», то я – «величество». Только так, и не иначе.

Пожалуй, это было произнесено неплохо, потому что Раиска была в эту минуту очень серьезна.

– Ты – холопка, – сказал он убеждающе. – Говоришь грубости, не умеешь разговаривать со старшими, действуешь прямолинейно, неискусно. А вот словом «старичок» ты меня достала. Да будет тебе известно, что мне всего сорок два года – возраст почти юношеский. Это во-первых. А во-вторых, я должен тебя предупредить, что меня почему-то любят женщины. Это прямо-таки несчастье какое-то: стоит мне улыбнуться любой из них, и она сразу тает. Хотелось бы, чтоб вы, барышни, были более стойкими, иначе просто неинтересно.

– А вы от скромности не умрете, – заметила Раиска, глядя на него уже с неприязнью.

– Осторожно: я сейчас улыбнусь, – предостерег он каким-то особенным голосом.

И улыбнулся всем лицом сразу – губами, щеками, лбом... Но самое главное произошло в его глазах: ласковый свет полыхнул в них, подобно зарнице, и Раиска почувствовала, как теплой волной окатило ее всю, и в смущении отступила. А сделав шаг назад, потупилась на мгновение и опять посмотрела на него, желая видеть его улыбку снова.

– Приходи ко мне сегодня вечером, – сказал он, понизив голос. – Когда стемнеет... или чуть-чуть пораньше, в сумерках.

– Куда? – спросила она произвольно, повинувшись отнюдь не своему разуму, а его воле.

– Ко мне, – он понизил голос до шепота. – Я буду ждать.

– Ладно, – сказала она тоже шепотом. – Хорошо.

– Чего ж хорошего? – спросил он уже погромче, после паузы. – Подумай сама: потрепанный жизнью и подержанный другими женщинами мужчина, уже в немалых годках – пятый десяток пошел! – приглашает тебя прийти к нему в лес... не когда-нибудь, а под вечер, когда стемнеет... и ты соглашаешься.

Раиска ошеломленно молчала; потом повернулась и пошла к деревне, сначала медленными шагами, потом быстрее.

– Разве это не холопство? – спросил он ей вслед.

Нет, она не очень-то и негодовала на него. Она не чувствовала себя униженной или оскорбленной. Разве не справедливо он сейчас поступил? Разве не правду он сказал? Она так легко покорилась, а это и есть холопство. С его же стороны все было честно и благородно.

Раиска осознала теперь, что он каким-то образом обрел власть над нею. Она покорилась этой власти, и вот что примечательно: рада была этому! А откуда эта власть? Уж не оттого ли, что когда-то его предки владели ее предками, крепостными крестьянами?..

С этим надо было непременно разобраться.

11.

Следующим днем был четверг, но Раиска не поехала в город, сказавшись больной. Мать отправилась вместо нее на рынок. Так бывало и раньше.

Едва только мать за порог, Раиска тотчас стала собираться... в Яменник. Зачем, сама не знала. Вырядилась в новое платье... Только в таком платье и лазить по чашам в Яменнике! Но она должна быть сегодня как можно наряднее!

Что за чувство ею владело? Не шла – летела на крыльях. Ветерком ее несло, словно пушинку.

На этот раз она даже заблудилась и некоторое время плутала по лесочку, прежде чем выбралась на едва заметную тропку. Это была не та, по которой она пробиралась несколько дней назад, и вывела ее не туда, куда хотелось, – к ручью, который она услышала, еще не видя его самого.

Ручей тут растекался довольно широко. Дно его было ровным, усыпанным мелкими разноцветными камешками. Вода стлалась тонким слоем и была совершенно прозрачна. А камешки лежали отнюдь не в беспорядке – их выложили таким образом, что угадывался... чей-то лик. Раиска не сразу, но увидела его: он был выложен не ясно, а... угадывался! Причем не с любой стороны, а, пожалуй, только с одного бережка, с одного места. Отсюда более или менее ясно можно было видеть и волосы, обрамлявшие лицо, и глаза, и брови, и нос, и губы... То был женский портрет! По наклону головы, по высверкам в глазах, по складке губ можно было поймать очень печальное выражение на лице этом.

Но стоило Раиске отступить в сторону несколько шагов, как изображение исчезло.

«Мне почудилось», – подумала она, но, вернувшись на прежнее место, опять увидела: да, лицо женщины, очень красивой и очень печальной – оно опять проглянуло сквозь движущийся слой воды. Движение воды придавало лицу живой, несколько изменчивый вид.

По берегу трава была притоптана, тут и там лежали малыши кучками разноцветные камешки. Значит... а то и значит, что изображение возникло не само собой, да и не могло так-то возникнуть! Кто-то искусным образом выложил камешки, верно сориентировав грани их, – получился мозаичный портрет. И этот «кто-то» был, конечно же... ясно, кто.

Арсений Петрович Сутолмин выкладывал мозаику.

«Так он художник!» – осенило Раиску. – Вот почему он такой странный. Все художники маленько с придурью, с прибабахом, с «тараканом»... Муравлик однажды весь вечер толковал ей о том, что художники, писатели, артисты – все с «тараканом», что именно потому они и талантливы: одаряя одним, природа уравнивает это, обделяя другим. Вот ей, Раиске, ни за что не выложить камешками портрет, ей это даже в голову не приходило, а помещик Сутолмин, столбовой дворянин – выложил... Впрочем, все, что он говорил про свое дворянское происхождение, – вранье. Может быть, он сам верит, что это правда, но это вранье. Насочинял скуки ради... Может быть, хотел произвести впечатление на нее, Раиску. Хотел понравиться.

«Да и Бог с ним! Чем бы дитя ни тешилось... Гораздо важнее другое... Кто эта женщина? И почему она так печальна?»

Возле ручья с изображением женского лица Раиска просидела довольно долго. Потом выбралась из Яменника тем же путем, что и пришла. Постояла на опушке, глядя на свою деревню, поразмышляла: «Если его нет возле пруда, то он ушел куда-то далеко, не скоро вернется, и у меня есть время...»

Она повернула опять вглубь лесочка.

12.

На этот раз сразу вышла к тому месту, где стояла палатка. Остановилась тут, прислушиваясь к звукам. Вокруг было этак словно бы сонно. Дрозды перекликались. Жаворонок пел над ближним полем.

Все занято было тут Раиске. Желтая бабочка пролетела, словно бы кувыркаясь в воздухе. На осоке пруда поблескивали слюдяными крылышками стрекозы. Ветер, набегая волнами, играл листвою ближних осин. А в пруду, в маленьком заливишке, лягушка старательно терла одна о другую мокрые резиновые калоши.

«Небось, и вечерами, и утрами ему квакает... – подумала Раиска. – А он слушает... Наверно, это ему в удовольствие».

Медленным взглядом обводила она это обжитое место, дивясь тому, что во всем тут видна была аккуратность. Ни обрывков бумаги, ни какого-то иного мусора. Нет обломанных веток, выброшенной из пруда тины... Человек, живший тут, даже траву старался поменьше топтать.

«А хорошо тут! – решила Раиска. – Я б тоже так-то пожила».

Осторожно ступая, чтоб не оставить следов, обошла она палатку вокруг. Замирал о сердце: а ну как сейчас вылезет этот Арсений Петрович из своего полотняного домика да и спросит:

– А чего тебе тут надо? Как ты смеешь сюда заходить, холопка?

У нее было такое ощущение, словно она пришла в чужое жилье незваная и воровато оглядывает чужое добро. Она решила заглянуть в палатку. И заглянула: там было много мягких вещей – то ли одеяла, то ли подушки... матрац надувной, на матраце том радиоприемник... и даже телевизор, величиной с хлебную буханку.

Раиска со смущением отступила: смелость ее принимала уж слишком предосудительный характер.

А вид от палатки, как отметила она, – словно с веранды барского дома. И на пруд, и на берег за прудом, где недавно выплясывала девка в сарафане... холопка. Она купалась в чем мать родила... и вся эта сцена – как на ладони отсюда.

«Ну и что особенного! – стала она оправдывать себя. – Подумаешь! И на пляже люди раздеваются... А чем тут не пляж?»

Вот мостки, с которых он умывается; сделаны неумело, неосновательно, зато незаметны и не нарушают диких зарослей пруда – тут и осока, и тростник мелкий, и белые кувшинки.

Вот висит на сучке дерева его куртка-ветровка, а под елкой стоят его белые сандалии.

Вот в осоке у воды чисто вымытые кастрюли, миски, сковородка; над ними сушится на ветерке полотенце «кухонное».

«Ишь, порядок везде, – отметила Раиска, – как у хозяйственной женщины. Уж не ухаживают ли за ним?»

Мысль эта немного насторожила ее: может, он не один тут живет, а с женщиной? Но тогда кое-какие вещи женские вещи тут были бы...

«Халат, глядишь, висел бы или тапочки да туфли стояли под кустом рядом с его сандалиями, – размышляла Раиска. – А что, если к нему кто-то приходит... например, из другой деревни?»

Она тотчас отогнала эту мысль: некому сюда приходиться! Да и кто о нем знает? Вот только она, Раиска, да еще мать. Но ведь мать не пойдет сюда!

«А если... Нет-нет! Не была».

Она села в креслице, в котором когда-то сидел сам хозяин. Опять вспомнила о той женщине на портрете: кто такая? И почему так печальна? И не из-за нее ли, в самом деле, он забился в этот лесок, как раненый зверь в нору?

«Пустынный... Отшельник».

Она поймала себя на том, что думает об Арсении Петровиче как-то очень уж хорошо, прямо-таки с нежностью.

«Уж не влюбилась ли я?... Может, это и есть любовь, о которой в книжках-то пишут? Может, она именно в том, что думаешь о человеке с такой радостью? И не только думаешь, но и хочешь сделать ему что-нибудь хорошее».

Ей хорошо было сидеть тут. Прежний Яменник отнюдь не казался страшным или чужим. Напротив, было тихо и покойно, по-домашнему уютно... Птицы щебетали. Ветерок ласкал. Лягушка еще старательнее терла свои калоши одна о другую.

13.

«Я поступала плохо, – раскаянно сказала она себе. – Я неправильно поступала! И вчера, и позавчера, и раньше. Нехорошо себя вела. И то, что с самой первой встречи обращалась к нему так развязно, на «ты»... И все эти мои дурацкие вопросы, вроде «Кто

такой?», «Что тебе тут надо?» Зачем я так его... Конечно, он сразу решил, что я взбалмошная, дерзкая, грубая девка... именно холопка. Он не ошибся».

Она вспомнила все с самого начала: и как впервые увидела идущим по полю, а гроза его настигала, а в ней было злорадное чувство: скорей, дождик, скорей!.. И как явилась к нему сюда, на этот пруд, и стала задавать дерзкие вопросы... И как разделась перед ним донага...

«Что он обо мне теперь думает? Какой меня представляет? Вот интересно бы знать... А что хорошего может он обо мне подумать?»

Помучив себя раскаянием, решила все наоборот:

«Да ничего плохого я не сделала! Напротив, он очень заинтересован мной. Он у меня в руках, я еще с ним поиграю, как кошка с мышью. А то ишь какие речи! «Понадобисься – позову...», «Велю выпороть на конюшне...» Ты мне за это дорого заплатишь, помещичий отпрыск, крепостник! У нас, у холопок, собственная гордость, на буржуев смотрим свысока».

Она развеселилась. Но вспомнила о той печальной женщине на портрете в ручье и тоже опечалилась. «Что за особа? Почему он ее изобразил? Ведь не один день, небось, трудился! Наверно, любит... а коли так, то больше никого никогда не полюбит».

Довольно долго она сидела, размышляя. Но вот тревожно застрекотала сорока, и другая тоже. Раиска вскочила и поспешно покинула столь понравившееся ей место.

Домой она возвращалась не то, чтобы крадучись, но с соблюдением предосторожностей. Ей очень не хотелось, чтоб кто-нибудь ее видел идущей от Яменника.

Уже подходя к деревне своей, оглянулась назад и увидела: по старой дороге от деревни Дятлово пробирается автомашина. Именно пробирается, потому что дорога непроезжая, не разгонишься лихо. Автомашина свернула чуть в сторону и остановилась, из нее вышла... Раискина мать.

«Вот это да!» – ахнула Раиска.

Мать о чем-то разговаривала с человеком, сидевшим за рулем, после чего отправилась в свою деревню, автомашина же – иномарка! – стала пробираться в сторону Яменника.

Все это поразило Раиску... Кто-то еще хочет поселиться в лесочке? Или гости едут к «помещику»? Или это сам он сидел за рулем? Да, конечно, он сам! Как она, Раиска, ранее не догадалась, что не пешком же он добрался из города до Яменника! У него столько вещей – на своем горбу не принесешь. Небось, где-то на опушке леса прячет машину, а когда надо, ездит в город за продуктами. То -то у него пиво в бутылках! Небось, свежее...

Раиска, хмурясь, стала высчитывать, могла ли ее мать заранее договориться с Арсением Петровичем о поездке в город. То, что этот Арсений Петрович и мать оказались вместе – это случайность? Или все-таки сговор у них?

Нет, не могло быть сговора. Мать в се время на виду... никуда не уходила от дома.

14.

Вернулась домой Раиска – и мать следом, как ни в чем ни бывало. Впрочем, была очень оживлена, то и дело чему-то улыбалась.

– Ты на рынок стала ездить на автомашине? – не вытерпев, осведомилась Раиска с самым безразличным видом.

– Увидела! – мать всплеснула руками. – Углядела! А я думала, ты тут делом занята.

– Этак о вас не только я, а вся деревня скоро будет говорить, – сказала Раиска.

– Ну уж, – мать даже зарделась, как от похвалы.

– Что ж он тебя до самого дому не подвез, кавалер этот? По соображениям конспирации?

– А ручей там... Мосточек -то провалился еще в прошлом году, да и вообще той дорогой никто теперь не ездит. Уж мы от Дятлова не ехали – ползли, еле-еле.

Стали собирать на стол. За обедом мать оживленно рассказывала:

– Стою за прилавком, торгую, а он и подходит... Арсений Петрович. Веселый такой! Стал мой товар расхваливать. Тотчас ко мне покупатели выстроились в очередь, я и расторговалась мигом. Предложил подвезти меня... Как было отказаться!

– Ну, и о чем вы с ним толковали дорогой? – вроде бы, равнодушно спросила Раиска.

– Да тут пути-то всего десять минут! Когда толковать? Шоколадными конфетами угощал...

Мать была явно огорчена тем обстоятельством, что слишком быстро доехали. Однако что-то у них было говорено и на сердечную тему, так заподозрила Раиска.

– В гости к себе не приглашал?

– Это в Яменник-то? – мать засмеялась. – Нет. Чего не было, того не было.

И она заговорила о другом. Но о другом Раиске говорить не хотелось. Когда убрали посуду со стола, сказала этак глубокомысленно:

– И что такое: на невест сутолминских большой спрос на рынке? Не успеешь встать за прилавок – уж жених-покупатель тут как тут. То ли товар хорош, то ли цен а дешева. А?

– Раиска, постыдися, – укорила мать, но не очень строго. – Ты о ком так говоришь-то? Я тебе не подруга, имей уважение к матери.

– Дак вот я встала – тотчас меня, девку красную, углядел парень... Ты постояла полчаса – и уж ухажер, да и с автомобилем иностранной марки! Вот я и интересуюсь, почему такой спрос на нас?

Тут мать замахнулась на нее полотенцем:

– А вот я тебе сейчас!

Сердито замахнулась.

– А что я такого сказала? – изобразила возмущение Раиска, хотя и вовсе не была возмущена. – Ты у меня еще молодая. Не я придумала: как наступит сорок пять, баба ягодка опять... Вот выдам-ка я тебя замуж!

– Ты, вроде бы, сама хотела, – напомнила мать.

– Да я уж подожду, – смиренно ответила дочь. – Потерплю, так и быть. Негоже дочери выходить замуж вперед матери.

– Какая язва! – подивилась мать и покачала головой.

Но не сердито она отозвалась. Ничего, легкий был у них разговор.

15.

«Ишь, кто у меня соперница – мать родная! – думала Раиска. – Ведь обе хотим понравиться одному человеку, и я, и мама. Ну, что ж, на войне как на войне. Посмотрим, чья возьмет...»

Она решила: надо что-то предпринять. Чего сидеть и ждать у моря погоды! Городской рынок уже научил ее: только активная торговля ведет к успеху! Если будешь стоять, разиня рот, – ничего не продашь. Покупателя надо завлекать: шуткой, смехом, взглядом поманить... пообещать такое, чего и нет, и быть не может.

«Надо как-то встретиться... произвести на него более благоприятное впечатление. Хорошо бы встретить вроде бы нечаянно... и затеять разговор посерьезней».

Легко сказать: произвести благоприятное впечатление... интеллигентный разговор затеять... Слишком велика разница между ними.

«Как жаль, что нет Муравлика, – подумала Раиска. – Запропал в своем Ярославле... Порасспросить бы о чем-нибудь, а потом выложить господину Сутолмину, чтоб сразу наповал... Что он мне раньше -то рассказывал, Муравлик? Я, дура, слушала в пол-уха. Надо было запоминать».

Однажды он толковал про Микеланджело и про его взаимоотношения с властями... про Лоренцо Великолепного, правителя блистательной Флоренции... Нет, такого разговора ей не потянуть: мало знает про Микеланджело... Еще Муравлик недавно толковал об американской музыке... Про Бенджамина Бриттена и Роберта Гершвина. Или, может, он и не Роберт, этот самый Гершвин? Может, он Бенджамин? Тут легко попасть впросак. Кто-то из них сочинил «Простую симфонию», которая очень нравится Вите. Но вот кто именно?

«Этак брякнешь: а нравится ли вам «Простая симфония» Бриттена? А дворянин Сутолмин в ответ: холопка, симфонию эту написал Гершвин... Ну, и угодишь в лужу».

Тогда, может быть, поговорить о литературе? Тема, доступная даже тупице, у которой в аттестате по литературе стоит тройка.

«Что вы можете сказать о стихах Винченцо Филикайя, уважаемый Арсений Петрович?»

«Ничего, кроме того, что никогда о нем не слыхивал».

«А я могу вам почитать его стихи наизусть».

«Не может быть... Это какой-то малоизвестный стихотворец. Если ты, холопка, знаешь наизусть малоизвестных, твоя образованность меня потрясает».

И прочитать ему: «Италия, Италия! О, ты, кому судьба наследием несчастным...» Нет, лучше немного переиначить, как переиначивал Муравлик:

Россия, Русь! О, ты,
Кому судьба наследием несчастным
Дар роковой вручила красоты!
О, если б не была ты так прекрасна,
Зато сильна, чтоб, менее любя,
На казнь не уводили бы тебя
От чар твоих трепещущие страстно!..

Раиска не запомнила бы этих стихов, но они в ее сознании каким-то образом обратились к ней самой: о, ты, кому судьба вручила дар роковой красоты!.. ах, если б не была ты так прекрасна!.. тогда б не трепетали перед тобой страстно.

А вдруг Сутолмин Арсений Петрович знает этого Винченцо, который к тому же еще и Филикайя? И скажет: там речь не о России, а об Италии!

Тогда она его научит уму-разуму:

«Я вижу, вы в литературе не очень-то сведущи... Вы не знаете даже того, что всякое художественное произведение – это иносказание. То есть, один пишем, а два в уме. Говорится об Италии, верно, однако имеется в виду другое. Поднапрягите ваши мыслительные способности и прочитайте, что там, между строк. Любовь к родине, верно, однако и еще кое о чем...»

16.

Не вытерпела, отправилась в Яменник, но не одна, а для отвода материнских глаз вроде бы как Белку пошла попасти. А сама подгоняла корову, подгоняла – по канаве да к лесочку! А там легкий голубоватый дымок поднимался: хозяин на месте, хозяин дома.

Так оно и оказалось: Арсений Петрович, действительно, хлопотал возле костра, когда Раиска с коровой оказались в поле его зрения.

Нет, он не был раздосадован ее появлением, даже обрадовался:

– Ага, вот и парное молочко пришло своим ходом! Ну -ка, надой мне в этот котелок.

Между ними был опять пруд. И котелок над этим прудом описал дугу, шлепнул я как раз у ног Раиски.

– А обратно как? Тоже по воздуху?

– Можно пустить, как кораблик, по воде – не утонет.

Раиска засмеялась. После чего сказала, что корова не даст молока, если не угостить ее куском хлеба. Тогда горбушка черного проделала тот же путь, что и котелок. Раиска подозвала Белку, скормила ей хлебушек, присела доить и тотчас сообщила:

– Скоро в человеческом обществе произойдет мировая революция.

– Да ну! – удивился он. – Свят, свят, свят... избави нас, Господи.

– Напрасно вы так иронически... «Счастлив, кто посетил сей мир в его минуты роковые...» Имеется в виду: революция не общественно-политическая, не как наша Великая Октябрьская и не как Великая Французская, а в знаниях и в представлениях о мире, в зрелищах и развлечениях.

– Мы жаждем хлеба и зрелищ? – осведомился он.

– Мы жаждем знаний, – строго сказала Раиска. – Ныне мы стоим на пороге великого открытия: вот-вот изобретут такой прибор, который будет считывать генетическую память людей.

– Что это такое?

Он уже сидел в креслице своем и курил – дымок, как и в прошлый раз, плыл в сторону Раиски, ароматный такой дымок.

– У нас в генах память всех наших предков, – пояснила Раиска, – вплоть до тех, что жили еще в пещерах. То есть все, что они видели и слышали, что пережили, все это в закодированном виде на генетическом уровне передается из поколения в поколение, от отца к сыну, от деда к внуку, от прадедов к правнукам... Это есть и в вас, и во мне, но мы пока не можем воспользоваться, понимаете?

– Откуда тебе это известно, несчастная холопка? – грозно сказал он. – Кто внушил тебе эти глупые мысли?

– Читала в одной хорошей книге.

– Разве ты грамоте разумеешь?

– Я имею аттестат об окончании сельской школы-десятилетки. И меня приглашали поступить в университет, но я засомневалась, достоин ли этот университет такой чести... Сколько вам нужно молока?

– Чем больше, тем лучше.

– Много Белка не даст: ее недавно доили.

– Какое мне дело! Я хочу молока, а уж где его взять, твои проблемы. Договаривайся с коровой дипломатически.

Еще одна хлебная горбушка описала дугу над прудом.

– Так что же там насчет генетической памяти толкуют среди дворовых? Что об этом мыслят кучера, дворники, сторожа, прачки?

Теперь такие шутки уже не задевали самолюбия Раиски. Она продолжала:

– Мы увидим охоту на мамонтов глазами первобытного человека, услышим его рев, крики охотников... Посмотрим на убранство жилых пещер, на одежду сидящих у костра, их разговоры услышим... Увидим знаменитые сражения, просто бытовые драки или, наоборот, всякие празднества. Сожжение на костре колдуний и ведьм, битву при Ватерлоо или при Бородине... Кто что захочет посмотреть, то и посмотрит. В меру своей испорченности.

– Страсти какие, – заметил он негромко. – Хорошо, что не на ночь.

– Я вот думаю: можно будет найти среди ныне живущих тех людей, у кого предки встречались с царями, полководцами, героями... через посредство их генетической памяти увидим живыми и Александра Сергеевича на дуэли с негодяем Дантесом... и Стеньку Разина в челне... и Петра Великого, пирующего со шкиперами... Вы представляете?

– Продолжай, холопка, я тебя слушаю.

– Вот надевает человек на голову шапочку, от нее проводок к телевизору, и он видит на телеэкране, как на Сенатской площади выстраиваются декабристы... или идет по Невскому проспекту Гоголь...

– Мы не узнаем его, – решительно заявил Арсений Петрович. – Портретное сходство – понятие относительное. Вряд ли ты узнала бы меня, посмотрев на мой портрет.

– Там будет сцена, где к нему обратится кто-нибудь... Например, Жуковский: «Николай Васильевич, я только что перечитал вашего «Ревизора»...»

Тут она – впервые! – услышала от него похвалу в свой адрес:

– Bravo! Ты не безнадежна, холопка. У тебя довольно живое воображение.

– Оно позволило мне очень живо увидеть ту женщину, чей портрет выложен мозаикой в ручье, – сказала Раиска.

На это он никак не отозвался. Она встала с котелком в руках: Белка отступила от нее и решительно удалялась.

– Так куда девать посудину с молоком, Арсений Петрович? Пустить по воде корабликом? Тогда нужен парус. Да и лягушки, как пираты, могут атаковать.

– Принеси, – сказал он тоном человека, который не сомневается, что его повеление будет выполнено. – Обойди кругом пруда.

И она обошла, принесла ему посудину с молоком.

– Я позволяю тебе сесть в это кресло, – сказал он, вставая.

Молоко он стал аккуратно переливать в большую бутылку с завинчивающейся крышечкой, объяснив, что потом опустит это в ручей – там водица родниковая, холодная.

– Так что там насчет Гоголя Николая Васильевича толкуют конюхи и ключницы? Чем взволнована моя дворня?

– Это будет именно революция, – продолжала Раиска, удобно расположившись в кресле. – Люди перестанут смотреть по телевизору глупые сериалы про Санта-Барбару и про «богатых, которые плачут». Зачем эти выдуманные события и герои, зачем придуманные страсти, когда можно видеть то, что было на самом деле! Перед правдивостью жизни померкнет любое кино.

– Ты меня озадачиваешь, холопка, – признался он.

И хоть он сказал это шутливо, она видела, что произвела-таки на него нужное ей впечатление. Она могла быть удовлетворена, но этого ей было мало! Он еще не в полной мере уразумел, с кем имеет дело. Он еще не в полной мере ее оценил!

– Тогда я вас раскрутила бы, – сказала Раиска мечтательно. – Помните, как у Пушкина? «Воспоминание безмолвно предо мной свой длинный развивает свиток». Всю вашу прошлую жизнь, как киноленту, я просмотрела бы... каким вас видели посторонние люди. Все ваши недостойные и бесчестные поступки, которые вы, наверняка, совершили...

– Я не много нагрешил, – отозвался он, отнюдь не сердясь. – Я вообще-то положительный. Ну, так... мелкие грешки. У кого их нет!

– У ангелов, – подсказала она.

– Разве что... А как называется та книга, из которой ты вычитала эти глупые, занятные идеи, и кто ее автор?

Раиска назвала ему и автора, и книгу обещала принести.

– Принеси, – сказал он. – Можешь прямо сейчас, а я пока попасу твою корову. Как ее по имени-отчеству?

– Она у нас молодая, можно просто по имени – Белка.

– Я присмотрю за нею. Она мне нравится.

– А как же ваше дворянское достоинство? – напомнила Раиска. – Разве оно не пострадает? Разве оно позволит вам быть у холопки в пастухах?

– Оно уже страдает от того, что я слушаю твои занятные бредни. Но ты разогнала мою тоску, благодарю.

17.

Раиска за книгой не пошла. Подождет, не велик барин. Она была в ударе и свободно переходила от одной темы к другой. Рассказала ему и про ведич ескую цивилизацию, и про «Простую симфонию», и про Винченцо Филикайя, и стихи почитала...

Он не стал ее ни в чем уличать, но она не преминула просветить его и насчет иносказания во всяком истинно художественном произведении.

Беседа их шла вполне дружески, только в одном месте они запнулись.

– И все-таки, что за женщина изображена мозаикой на дне ручья? – спросила Раиска.
– Это ваша жена?

– Ты поступаешь бестактно, – заметил он и нахмурился.

И вот, словно оттого, что он нахмурился, вдруг прогремел гром. Откуда взялась туча? Раиска встала, посмотрела на небо. Туча заходила как раз со стороны ее деревни.

– Ты не успеешь добежать до дому, – предостерег он.

– Успею! – беспечно отмахнулась Раиска, и опять села.

Он стал убирать под навес свои вещи: куртку, полотенце, обувь... тоже озабоченно оглядывался на небо.

– Я не сказала вам еще вот что, – продолжала Раиска. – Есть память и у природы... на молекулярном уровне. То есть, у воды, у травы, у этих листьев. Когда -нибудь люди научатся считывать и ее. Вот тогда все, что происходило хоть бы здесь, в Яменнике, наши потомки могут просмотреть от начала до конца. Было ли здесь барское поместье, был ли сад, форель в ручье, конюшня с породистыми лошадьми. И даже то, что вот мы сидим и разговариваем, вы и я, тоже отражается в памяти этой воды в пруде. В листьях вот этой осинки и в иголках можжевельника... И как я доила для вас корову Белку, как вы швыряли котелок через пруд... Все наши поступки потом будут оценены нашими потомками и судимы ими по справедливости.

– Это ты тоже вычитала в той же книжке, несчастная холопка? – спросил он и опять оглянулся на приближающуюся тучу.

– Нет, в другой... Но того же автора.

– Ты меня заинтриговала. Иди сейчас же и принеси их мне.

– Я выполню ваше повеление только в том случае... – тут Раиска помолчала, не зная, как лучше выразиться, – в том только случае, если скажете, чей портрет вы камешками выложили в ручье.

Он сел на траву, спустив ноги к воде, ломал сухой прутик и кидал в воду. Лягушки громко перекликались от берега к берегу. Наступил тихий предгрозового час.

– Почему так печальна эта женщина на портрете? – настойчиво спрашивала Раиска.

Он молчал.

– Это ваша жена? Отвечайте, когда вас спрашивают. Я не ради любопытства, мне это очень важно.

– Она умерла, – сказал он негромко. – Еще вопросы есть?

– Извините, – смутилась Раиска.

Опять гром прогремел. Она встала с кресла и посмотрела на небо. Уже несколько капель принесло ветром.

– Порядочные люди в таких случаях приглашают гостью в дом, – сказала Раиска в пространство.

– Нет, не приглашу, – отозвался хозяин. – Это неприлично: молодой девушке лезть в палатку к малознакомому мужчине... Нет, как хочешь, а это сверх всякой меры.

Раиска засмеялась, словно заранее знала его ответ.

– Побегу, – сказала она и побежала, скрылась за деревьями и кустами.

Порывом ветра взморщило поверхность пруда, затрепетала листва деревьев и кустов. Первые капли упали...

18.

Порыв ветра с новой силой обрушился на Яменник откуда -то сверху, поднимая с воды широкие листья кувшинок. Листья эти хлопали по воде, белые бутоны стремительно передвигались туда и сюда. Тяжелые дождевые капли просыпались на полотно палатки. Хозяин ее сидел неподвижно, потом встал и укрылся в своем жилище.

Палаточка волновалась под ветром. По слюдяному оконцу уже потекли дождевые струйки.

– Ой! – послышалось совсем рядом.

И на берег пруда выскочила Раиска. Дождь как раз хлынул, прибывая к ее телу легкое платье.

– Барин! – закричала она. – Ваше сиятельство! Не успеть мне до дому. Приюти!

И не дожидаясь приглашение или разрешения, шмыгнула под тент.

– Прежде, чем войти, помой ноги, – проворчал хозяин. – Глянь, у тебя коленка в грязи.

Она не обиделась, пояснила:

– Трава стала скользкая... Шлепнулась я.

Потерла колени мокрой рукой, но тут молния взблеснула и гром ударил. Раиска шмыгнула в палатку. Но, оказавшись здесь, не знала, как сесть, как повернуться. А хозяин вольготно лежал на мягкой постели.

Раиска сидела перед ним на корточках.

– На тебе все мокрое, – заметил он. – Раздевайся и залезай в спальный мешок, вот он. Платье потом просушишь у костра, когда гроза пройдет.

– Еще чего, – хмыкнула Раиска. – Ишь, раздевайся... Не много ли хотите?

– То-то не видал я вашей сестры, – отозвался он спокойно. – И тебя тоже видел, холопка. Не шибко-то ты меня и взволновала. Раздевайся и марш в спальный мешок. Он на гагачьем пуху! Когда ты еще будешь иметь такую возможность!

– А вообще-то чего я боюсь? – спросила у себя самой Раиска и скинула платье через голову.

Неумело забралась в мешок. Это оказался замечательный мешок, в нем было сухо и тепло.

– Почему дрожишь? – спросил он. – Озябла? Инфлюэнцу схватишь.

– Я волнуюсь, – призналась она. – Влезла вот, как в пасть к удаву... Может быть, ты насильник или маньяк. А я, дура, доверяюсь.

– Не болтай глупостей, – строго сказал он. – Могу предложить рюмку коньяку... чтоб не простудилась.

– Хотите подпойть?

– Ну, не пей. Коньяк у меня хороший, французский. Кто в нем толку не разумеет, тех лучше не угощать.

Опять молния блеснула, и гром сотряс небо и землю.

– Хочу французского коньяку, – заявила Раиска.

И он откуда-то достал бутылку, две рюмки, налил этак благоговейно, посоветовал:

– Пей маленькими глотками.

– Да тут всего один глоток, – возразила Раиска. И выпила разом.

Стало совсем хорошо. Она так и сказала:

– Как хорошо! Пью французский коньяк... в чужой палатке, с чужим человеком. Стыд и срам! А мне так хорошо. Почему? Потому, что в ообще жить на свете хорошо. Вы со мной согласны?

– Частично. Не вообще хорошо, а только в этом лесочке. Я здесь очень славно пожил. Кстати, как зовут этот лесок?

– Яменник.

– Я насладился тишиной, – продолжал он мечтательно. – Такой тут дикий мир... с лягушками, с птицами, со стрекозами над водой... Хорошо пожил.

– Надо сказать «живу», а не «жил».

– Можно и в прошедшем времени. Завтра снимаюсь и уезжаю.

Раиска тотчас опечалилась.

– Не уезжайте, – попросила она растерянно. – Я буду приходить в гости, чтоб вам не скучно было.

Он молчал.

– Вы же хотели еще прочитать две книги! Одна, кстати сказать, так и называется – «Хорошо живу». А вторая про озеро... и про любовь...

Гроза между тем разыгралась не на шутку. Как раз над их палаткой разверзлись небеса, и ливень превратился прямо-таки в водопад. Полотно крыши прогибалось, но не промокало.

– Как у вас хорошо! – сказала Раиска, выпрастывая обе руки из мешка, и села. – Никогда не бывала в таких апартаментах... Как тут уютно!

Несмотря на то, что черная туча навалилась с неба и день померк, оранжевое полотно палатки создавало иллюзию солнечной погоды.

Некоторое время они молчали, слушая шум ливня.

– Ваше сиятельство! – окликнула Раиска. – Вы боитесь меня?

– Я смущаюсь тебя, холопка, – признался он.

Она засмеялась:

– А я заметила это. А почему?

– Ты взбалмошная, отчаянная. Бог знает, что можно от тебя ждать в следующую минуту.

Молния сверкнула особенно ярко и гром ударил такой, что земля вздрогнула; казалось, вода из пруда выплеснется и утащит палатку за собой.

И тут произошло то, от чего он ее предостерегал только что: Раиска обняла его и прошептала на ухо:

– Я хочу стать женщиной... сейчас, с тобой... при этой грозе... Ты слышишь? Я так хочу...

19.

Она вернулась домой рассеянна и тиха.

– Где ты пропадала? – спросила мать подозрительно.

– Корова в ячмени ушла, – очень убедительно объяснила Раиска. – Гоняла ее... вдруг, думаю, объелась! Так пусть, думаю, промнется.

– А дождь где тебя настиг?

– У больших валунов. Там в кустах сидела.

Мать обругала корову и больше вопросов дочери не задавала.

20.

А вечером приехал Муравлик, позвякал велосипедным звончком. Раиска вышла на крыльцо.

– Привет, – улыбается Витя радостно. – Можешь меня поздравить: я студент.

– Поздравляю, – сказала Раиска.

Он прислонил велосипед к углу дома, ждал. Она сошла к нему с крыльца, встала, полуотвернувшись, глядела в сторону, сказала хмуро:

– Ты вот что, Витя... уезжай. Не будем сидеть.

– Почему? – опешил он.

– И не приезжай больше.

– Да почему! – прямо-таки возмутился он.
– Я не люблю тебя... А раз так, то и нечего.
Наступила пауза.
– Но ведь это пока... – сказал он тихо. – Потом полюбишь.
– Я уже полюбила... Я встретила человека...
Он помрачнел, тоже отвернулся. Тут мать выглянула из распахнутого окна:
– Да не слушай ты ее, Витя! Мелет незнамо что. Вот я ее скалкой по заднице-то – будет шелковая.
Раиска закрыла окно.
– Уезжай, – сказала она Вите. – Я полюбила, и ты полюбишь. В Ярославле девушек много.
Мать вышла на крыльцо, но не со скалкой в руке, а с пустым ведром.
– Ишь она, какого парня отваживает! Дурь у нее в голове, вот что.
– Да не мешай! – рассердилась дочь. – Дай поговорить.
И та ушла – в огород, грядки поливать.
– Да ладно, – с натугой выговорил Муравлик и жалко улыбнулся. – Пройдет у тебя все это. Расскажешь мне потом, вместе посмеемся.
– Нет, Витя. Я по-настоящему полюбила.
Опять помолчали.
– Да кого? – спросил он. – Выдумываешь все... В городе, да? На рынке, небось. Глупости все это!
– Не спрашивай, не скажу. Но не сидеть нам больше вместе. Забудь меня.
– Ты что, не знаешь? – спросил он вдруг с укором. – Не знаешь, что мы в ответе за тех, кого приручили?
– Это кто же кого приручил? – насторожилась Раиска. – Уж не ты ли меня?
– Нет. Ты меня.
Муравлик стоял, потупясь. Потупилась и Раиска. Прав был Витя: было, было, не отвертеться от того. Он приезжал, сидели вот тут на лавочке, и она, играючи, заводила его руки ему за спину, приказывала: «Держи там!» – и целовала, и обнимала, смеясь. Ей то было в новинку, да и ему тоже. Но бедный Муравлик совсем голову терял. Крупная дрожь сотрясала его.
«Ты чего дрожишь, дурачок?» – спрашивала она.
«Не знаю», – признавался он.
Но как только парень пытался обнять ее, она тотчас отодвигалась, а потом опять, уже насильно, заламывала ему руки за спину: «А вот я тебе их там узлом завяжу...»
Смех у нее при этом был очень коварный. Раиску забавляло, что Муравлик был сам не свой от счастья, когда она целовала его, прижимаясь к нему всем телом.
– Ты меня приручила, – сказал он теперь. – Я уж больше никого полюбить не смогу.
Раиска молчала.
– Ты мной завладела, – продолжал он с непереносимым укором, – потому теперь за меня в ответе.
Может быть, и впрямь потом он будет мужественным, но пока что до мужественности ему далеко.
– Ага, я за тебя ответчица перед Богом и людьми, – хмыкнула Раиска. – Слышала я это.
– Не смейся, – сказал он строго. – Тут дело очень серьезное.
– Твой Сент-Экзюпери имел в виду только самого себя, когда говорил, что мы в ответе за тех, кого приручили. Он приручал, он и отвечал. А ты ишь как перевернул! В свою пользу. На себя налагай долги да обязанности, а я пташка вольна я, никто надо мной не властен.
– И этот, про которого говоришь, будто полюбила... и он не властен над тобой?
Надежда прозвучала в словах Муравлика.
– Он властен, – тихо сказала Раиска. – Я его холопка, тем и счастлива. Прощай...

Он стоял, как пришибленный.

– Да не горюй! – ободрила его Раиска, уже поднимаясь на крыльцо. – Жизнь прекрасна и удивительна – вот что главное. И не бери лишнего в голову...

И с этими словами ушла в дом.

Сколько он потом ни звякал своим звоночком, не появилась. За то вышла из огорода мать, о чем-то довольно долго толковала с ним. Раиска глянет из окна – мать в чем-то тихонько убеждает Витю. Или утешает? А он понуро ее слушает...

21.

На другой день она должна была опять ехать на базар, но сказалась больной, как и в прошлый раз. Мать не ворчала, собралась сама, причем довольно охотно. Может, надеялась, что там, в городе, Арсений Петрович опять подойдет к ней и предложит подвезти?

«Нет, – подумала Раиска удовлетворенно. – Ты опоздала... Он уже мой».

Стишки детские вспомнились ей:

Ах, попалась, птичка, стой,
Не уйдешь из сети.
Не расстануся с тобой
Ни за что на свете.

Мать поспешила к рейсовому автобусу в Дятлово, а Раиска, чуть повременив, следом за нею – в Яменник. Она несла Арсению Петровичу обещанную книгу и очень спешила, словно боялась опоздать.

Ее преследовал страх: вдруг вот сейчас придет, а палатки уже нет на месте, и ничего нет, только травка примята на берегу... да и та через несколько дней выпря мится. И тогда – всё, словно и не было тут никого и ничего.

«А что? Собрался и уехал... долго ли ему!» – подумала она и прибавила шагу.

Но нет, и палатка стояла, и все прочее было на прежних местах, только самого Арсения Петровича не было. Она окликнула негромко – никто не отозвался, только малая птаха вспорхнула из ближнего куста.

«Ах, попалась, птичка, стой...»

Раиска положила книгу на видном месте и отправилась на поиски.

Арсений Петрович сидел возле ручья, где по мелководью был выложен мозаикой портрет женщины.

Раиска некоторое время наблюдала за ним. Он же сосредоточенно и терпеливо передвигал камешки по дну длинной палкой, сидя на корточках. Он был так увлечен своим занятием, что не заметил ее. Что-то у него не получалось, он хмурился, потом подвернул брюки, сделал осторожный шаг в воду, наклонился, поправил камешек другой палочкой, покороче, и вернулся на прежнее место.

Вчера он сказал ей: «Нет, я не художник. Рисовать совершенно не умею. А что до того портрета... блажь в голову пришла. Однажды пробирался по этому ручью, а там водичка прозрачная растекается тонким слоем. Вот подумалось, что тут место какому-нибудь изображению... Если, скажем, портрет чей-то – лик этот будет обращен к небу, и оттуда, с высоты, виден. Понимаешь?»

– Все-таки ты художник, – убежденно сказала ему Раиска. – У тебя талант. Эти выверки в глазах у женщины... как ты догадался, что туда надо поместить именно эти камешки?

– Они только при солнце, – сказал он с детской застенчивостью.

Заговорили уже о другом, но Раиску не оставляли мысли о той женщине.

– Мне завидно, – призналась она. – А ты мог бы нарисовать там мой портрет?

Арсений Петрович довольно долго молчал.

– Послушай, – сказал он после раздумья. – Я тут ни при чем. Я не создавал портрета – просто передвигал камешки. А лик этой женщины проявился сам. Значит, она того очень хотела... Если ты так же захочешь, как она... что ж, может быть, у меня получится. Почему бы и в самом деле тебе не проявиться там?

– Я очень хочу... – сказала Раиска, обнимая его.

Этот разговор был вчера. А теперь она тихо-тихо подошла к нему и остановилась в нескольких шагах, боясь, что он услышит ее дыхание или даже стук ее сердца. Может быть, он выкладывает уже ее, Раискин, портрет? Если бы так...

Но нет, на дне ручья по широкому мелководью камешки лежали таким образом, что не оставляли ей надежд – это была все та же печальная женщина, что и прежде.

– Ах, попалась, птичка, стой... – сказала Раиска.

Он обернулся. Вид у него был довольно отрешенный.

– Вчера ты хотел изобразить тут мой лик, – напомнила она.

– Пытаюсь, – сказал он виновато. – Знаешь анекдот про офицера: как ни сяду, говорит, написать стихотворение – все получается рапорт. Вот и я: пытался изобразить тебя... но получается она...

– Ты постарайся, – попросила Раиска. – Я тебя очень прошу.

– Да ведь не все от меня зависит, – так же виновато отвечал он.

– Я тоже постараюсь, – прошептала Раиска, обнимая его. – И все у нас получится... Потому что я тебя люблю...

22.

Домой она возвращалась словно бы оскорбленной, даже поплакала дорогой.

Что ему эта женщина? Чем она лучше ее, Раиски? Разве она моложе? Разве красивей? Если она умерла, то что ей еще надо от него? Почему она, даже мертвая, не может уступить его живой? Ведь даже вчера, во время грозы, когда им было так хорошо, Раиска чувствовала, что он не забывает о той, что на портрете. Он не сказал ей тех слов, которых она ждала... и в ласках был неловок.

Уже входя в деревню, она подумала, утешая себя, что все -таки это благородно – то, что он продолжает любить ту женщину. Вот уж и нет ее на свете, а он все любит...

«Она мне не соперница», – так подумала Раиска. И повторила, как заклинание: «Она не соперница мне... Я здесь, рядом с ним, а она где -то там. Я люблю его самой земной, а не небесной любовью, а ей это недоступно. Пусть любит ее... а все равно мой. Пусть я его холопка, но все равно он в моей власти...»

23.

На другой день после полуденной дойки Раиска пропала из дому. Ей велено было окучить картошку – ту, что за деревней, на брошенном колхозном поле. Там они с матерью вскопали по весне и посадили довольно широкую полосу. Однако Раиска к работе не приступила: на краю полосы торчал воткнутый в землю заступ, а самой Раиски не было. Словно пришла она сюда, разок копнула, а тут ее кто-то окликнул, и она ушла.

– Ну, погоди! – сказала мать. – Вот я тебя скалкой по мягкому месту...

И, уже обращаясь к Астре, продолжала:

– Ишь, гулена! Что Белка, что девка моя – обе шалавы. Дома не удержишь, так и норовят куда-нибудь уйти.

И Астра согласилась с нею, сказала:

– Му.

– Вот вернется, я ей ремня хорошего...

Но Раиска не вернулась и к вечеру, так что не понадобились ни скалка, ни хороший ремень. Не сказать, чтобы мать шибко забеспокоилась, однако немало озадачена была. Такое уже случилось однажды – вернулась Раиска поздно: подруги из соседней деревни Дятлово, ее одноклассницы, позвали на чей-то день рождения. Почему матери не сказала? Да те ехали мимо, Раиска села и поехала с ними. Может, и нынче так.

Только вот вчерашний разговор с овсяниковским Витей немного беспокоил: уж больно переживал паренек. А ну, как надумает что! Раиска говорила, что у него ружье есть. Мало ли что взбредет в голову человеку отчаянному!

Она уснула поздно, не дождавшись Раиски, но спала, как всегда, без особых тревог. Однако утром, проснувшись рано, сразу же заглянула в горницу. Дочери там не было. Только тогда мать встревожилась.

Доила коров, выгнала их со двора, проводила до огороженного пастбища овец, покормила кур, затопила печь... а у самой одно было на уме: где Раиска ночевала? И так она решила, что не Муравлика Витю надо винить в этом и не дятловских подруг, а... Арсения Петровича. Это он вскружил девчонке голову.

«Ах он, паразит! Да я его расшибу на месте. Если только... если только он что с нею сделал».

И, не раздумывая, отправилась в Яменник.

За то время, пока шла, успела ругательски изругать и Раиску: «Экая шалава! Ни стыда, ни совести!», и вальяжного дачника: «А черти его сюда занесли! Ишь, еще не наши ми деньгами похваляется!», и саму себя... Пока шла, столько было в ней ярости, что, казалось, сокрушит любого злодея. Но, подойдя к Яменнику, вдруг оробела почему-то. Подумала, что зря ничего не взяла в руки... А хоть бы топор! Мало ли что может случиться в этом чертовом леске. С топором-то было бы смелее. Может, он там не один живет, Арсений этот? Да и что он сам за человек? Что у него на уме? Много ли она о нем знает?

«Надо было мне в деревне сказать кому-нибудь, куда я пошла... а то пропадем обе с Раиской, и где нас искать, неведомо...»

Она не нашла той тропки, которую ранее отыскала Раиска, и некоторое время пробиралась по лесочку наугад. Никогда она ранее здесь не была, потому дивилась и могучим кустам можжевельника, и елкам, выстилавшим свои лапы по земле, и ямам, заросшим травой.

Неожиданно для себя вышла к пруду. Еще более неожиданным было то, что на берегу стояла палаточка, возле которой был столик, и кое-какие вещи были развешаны на ветках кустов: куртка-ветровка, два полотенца... Но от чего совсем опешила мать: на камне возле пруда сидела босая Раиска и, мурлыкая беззаботно, терла металлическую мисочку пучком травы. Дочь подняла голову и сказала вместо «здравствуй»:

– Ой, мам, это ты? А мы как раз к тебе собирались пойти.

Словно ничего особенного не происходило, словно та и должна была вот так сюда прийти.

– Что ты тут делаешь? – едва выговорила изумленная мать.

– Да посуду вот мою. Мы только что позавтракали

– Какую посуду?.. Кто это «мы»?

– Ой, да не пугайся ты так, мам. Не бери в голову.

Как это ни странно, изумление матери искренне забавляло Раиску.

– Ну, живу я теперь тут, живу.

– Как это «живу»? Ты что городишь-то?

Мать обессиленно села прямо на траву.

– Обыкновенно как, – отвечала ей дочь. – Вот домик наш... С милым рай и в шалаше. Вот наше хозяйство...

Мать огляделась вокруг, и «хозяйство» понравилось ей. Как-то чистенько было кругом... миротворно.

– Ты здесь ночевала? – спросила мать.

– Ну да, где же еще, – беззаботно ответила дочь.

– А где он? – спросила мать после паузы.

– Да я его за водой на родник послала.

Тут послышался шелест кустов. И на берег вышел Арсений Петрович с малым ведерком воды. Он отнюдь не смутился, поздоровался весело.

– Вот видишь, водички принес, – весело сказала Раиска. – Он теперь у меня на посылках, барин этот.

– А мы как раз собираемся к вам, Галина Дмитриевна, – сказал «барин», – с очень важным делом.

– С каким? – растерянно спросила та.

– Галина Дмитриевна, – сказал он торжественно, – я прошу у вас руки вашей дочери.

– Как это? – озадачилась Галина Дмитриевна. – Зачем вам ее... рука?

– Мам, ну что ты не поймешь? – возмутилась дочь. – Это означает, что он просит твоего материнского благословения на наш брак. Он, видишь ли, хочет, чтоб мы непременно поженились, чтоб все честь честью.

Тут она почему-то громко засмеялась.

– Что ты смеешься? – возмутилась мать. – Что тут у вас происходит вообще-то? Как это понимать?

– Мам, – доверительно сказала дочь, сопровождая слова свои смехом, – это такой лопух! Я и не думала, что такие бывают. Он считает, что раз я провела с ним ночь, то он непременно должен на мне жениться.

– Ну вот... достукалась девка, – в растерянности выговорила мать. – Конец.

Арсений Петрович живо подхватил:

– Вот и мне так казалось, когда я поселился здесь: все, думаю, жизнь кончилась, конец... А вышло совсем наоборот: начало!

Действительно, тут начало новой повести. Она существует, только не записана...

ПОЭЗИЯ



Валентина Гусева

Милая холодная земля

* * *

От города избавиться хочу,
А он со мной. Ночами греет душу,
Котом сиамским ластится: — Послушай,
Давай уедем...

— Шутишь?

— Не шучу.

Куда уехать? Где он, мой причал?
Все паруса поистрепались в клочья
И город стал являться только ночью.
Деревня — вот начало всех начал!

Начало жизни, колыбель мою
Качала бабка, тихо напевая,
Простым напевом дрему навевая:
— Усни, мой ангел, баюшки-баю!

Теперь сама я — бабка, Боже мой!
И за окном пейзаж все тот же, сельский,
И повод нужен, право, слишком веский,
Чтобы уехать от себя самой.

Мне здесь любое дело по плечу,
Я здесь живу, здесь складываю песни.
Но город все же снится, хоть ты тресни!

— Давай уедем... Слышишь? —

Я молчу.

Валентина Павловна Гусева родилась в 1951 году в краю, который принято называть «рубцовским» — в Тотьминском районе Вологодской области. В 1962 году переехала вместе с семьей в Пошехонский район Ярославской области, на родину матери. Окончила школу, затем Рыбинское дошкольное педагогическое училище; в 1978 году — филологический факультет Ярославского педагогического института. Работает учителем русского языка и литературы в сельской школе, сотрудничает с районной, областной и центральной прессой.

С 15 лет пишет стихи, публиковалась в местной периодике и коллективных сборниках. В 2004 году опубликовала в нашем журнале подборку стихотворений, в этом году — цикл рассказов.

Живет в деревне Кладово Пошехонского района Ярославской области.

* * *

Вновь под дождиком плачут деревья,
Слезы-капельки падают с ветки.
На селе не играют свадьбы,
На селе не рождаются детки.

Исчезает деревня, уходит.
Срок придет — и не будет на свете.
Как она уцелеет, воспрянет,
Коли в ней не рождаются дети?

Вновь стучится в окошко рябина,
Словно чья-то мятежная память,
Словно чья-то надежда: а может,
Устоит? Не исчезнет? Воспрянет?

Петушиного крика не слышно,
Две старухи свой век доживают.
На глазах умирает деревня...
Или матушка-Русь умирает?

* * *

Николаю Рубцову

Мы с тобою земляки, не боле...
Нависает, вьюгами звеня,
Над твоею и моею долей
Милая холодная земля.
В сумерках забрезжишь тихим светом,
Я к тебе навстречу побегу.
Ты давно на том, а я на этом,
Все еще на этом берегу.
Лодка, догнивая, ждать устала
Нашей встречи вдохновенный час.
Я над книгой ночь. Перелистала
Заново судьбу твою сейчас.
В горнице светает, как и прежде,
И звезда качает небосвод.
Можно ли, Никола, без надежды
Заводить веселый хоровод?
Цветики сажать — завянут вскоре.
А детей пускать на белый свет?
Я тебе скажу не без укора:
Ну, с чего ты взял, что счастья нет?
Кто тебе наплел про те морозы,
Про наветы и про ворожбу?
Кто обрек на муки и на слезы
Ангельскую душу? И судьбу...

РУСАЛКА

Бывает, такое приснится,
Что все повернется во мне...
Русалка, влюбленная в принца,
Запляшет на синей волне.

Запросит надежды и воли,
Загрезит о вечном добре.
Но принц не поймет ее боли,
Другую лаская в шатре.

Русалка, рванувшись из плена,
Исчезнет в морской глубине.
Останется белая пена,
Как память твоя обо мне.

МОНОЛОГ ДОЧЕРИ

Мама, мама, его я уже не люблю,
Мама, мама, почти ненавижу.
Пусть не пьют наши гости... А я пригублю
И тряхну своей челкою рыжей.
Мама, он — мое горе, мой грех и слеза,
Лихорадка и злое веселье.
За рассветным окном сатанятся глаза...
Мама, дай отворотного зелья!
Видишь, траурной рамкой сама обвела
Холод губ, ледяное молчанье.
Я на празднике этом чужою была...
Мама, мама, за что наказанье?

НАВАЖДЕНИЕ

Вы входите — веселый, молодой.
В глазах — полувопрос, полуулыбка.
И комната, покачиваясь зыбко,
Пропитывается нежности волной.
Ах, мне ли к сердцу ключик не найти!
Учтиво гостя я зову к обеду,
Завязываю светскую беседу,
И уж победу праздную почти...
Но зеркало — врага любого злей:
Взглянула лишь — и всё на место встало.
Ах, зря мое сердечко трепетало!
Вы не ко мне —
вы к дочери моей.

* * *

Ничего не происходит.
Остановка. Пустота.
То ли солнышко заходит,
То ли стала я не та.
Вьется тропка поворота
К тихой заводи судьбы
Без порыва, без полета,
Без измен, без ворожбы...
Как мне пелось! Как ревелось!
Как мечталось! Как жилось!
Все в муку перемололось,
Износилось, порвалось.
Где-то чья-то песня бродит,
А моя домой идет.
Ничего не происходит
И уж не произойдет.

ОСЕННЯЯ ДОРОГА

Тяну свой воз. Трещит, скрипит телега.
Моя поклажа вправду нелегка.
А надо мною кружат хлопья снега
И облака плывут издалека.
И я бреду, не замечая грязи.
Вороний крик — как будто ворожба...
Какая связь? Да никакой тут связи —
Есть лишь дорога и моя судьба.
Пусть не совсем та ноша мне по нраву,
Но я везу, пока могу, пока...
Я так хочу не угодить в канаву,
Не встретить по дороге дурака.

ПОЭЗИЯ



Тамара Пирогова

Среди дождей и вьюг

* * *

Ярославское лето мне в радость:
Принесли молодые ветра
Долгожданный для севера градус –
И на улицах снова жара.

И колышется синяя Волга,
И довольно гудит теплоход.
Это лето пришло ненадолго,
Но теплеет суровый народ...

* * *

Не хочет лето исчезать,
Тепло в саду на удивленье.
За что такая благодать?
Неужто не грозит забвенью
Тому, что под ноги легло
И скрыто будет под снегами?
Душе легко, душе светло.
Какое солнце над лугами!

Тамара Алексеевна Пирогова родилась в 1947 году в Рыбинске, после окончания школы трудилась в родном городе на моторостроительном и приборостроительном заводах – монтажницей, сборщицей, гальваником, архивариусом, сотрудником заводского радио. Затем работала корреспондентом и редактором заводской газеты. Окончив в 1988 году факультет журналистики МГУ имени Ломоносова, работала в рыбинских газетах, в 2000-м году переехала в Ярославль, где продолжила сотрудничество с рядом областных изданий.

Стихи пишет с 14 лет, публикуется в местной прессе с конца 70-х годов, первая столичная публикация – в журнале «Студенческий меридиан» (1984 год). В 1990 году опубликовала в Ярославле первую книгу «Любви и боли непокой», затем в Ярославле и Рыбинске увидели свет еще шесть книг ее стихотворений. В 90-х годах руководила рыбинским городским литературным объединением имени Н.Якушева. Постоянный автор нашего журнала.

Живет в Ярославле.

* * *

Я слушаю лепет листьев.
Пора им, пора в полет.
Вся мудрость извечных истин
В багряной листве живет.
Ветра на ветвях качают
Восход и закат земной...
То радостно, то печально
Природа, играй со мной!

* * *

У нас ничего не осталось
И мглою покрыта дорога.
Нам светит лишь самую малость
Цветок запоздалый у стога.
Не новой ли жизни предвестье?
Стоим над рекою холодной,
А листья, подобно созвездьям,
Плывут широко и свободно.

* * *

Старый художник незримою кистью
Нарисовал исчезающий сад:
Шепчутся кроны, качаются листья,
С веток срываясь, куда-то летят.
Тихо струится над кронами дождик,
Дразнит кого-то несорванный плод...
Есть ли у времени тайный художник,
Что нарисует меня у ворот?

* * *

В поле заснеженном — тихий свет,
Солнца усталый взгляд.
Кем-то оставленный лыжный след
Тихо пронзил закат.

Сумерки нежно обняли даль,
Кончился зимний день...
Как безответна земли печаль
Перед уходом в тень!

ФОНАРИК

Струится снег вдоль окон,
Метели нет конца.
Звездой одинокой —
Фонарик у крыльца.

Маячит, призывая,
На ледяном ветру...
Та звездочка живая
Погаснет поутру.

Ее забудут люди
При ярком свете дня.
Она их не осудит,
Для ночи свет храня...

АЛАЯ ЦЕРКОВЬ

Алая церковь средь снега
Не застывая, кровит...
Славного, строгого века
Мне открывается вид:
Окон резные решетки,
Крест золотой в вышине,
Лики, печальны и кротки,
В мудрой молчат тишине.
К душам заблудшим взывая,
Ангел глядит сквозь стекло...
Родины капля живая,
Как мне с тобою тепло!

* * *

Летели птицы на закат,
Что догорал вдали сурово.
Как этот мир велик и свят,
Я поняла в тот вечер снова.
Мне открывалась тайна тайн...
Как будто ангелы летели
Среди негромких птичьих стай,
Среди мороза и метели.

* * *

Снега завалили землю,
Гуляет всю метель.
Не бредит зима капелью,
Но вдруг зазвенит капель.
Могуче зыграет солнце —
Весенняя благодать.
Тепло на поля прольется...
Нас учит природа ждать!

* * *

Снега осели на полях –
И царствует вода.
Какой безжалостный размах!
Природа – молода!
Мы оседаем, что ни год,
Она ж – за веком век
Смывает грязь, цветет, поёт...
Не старься, человек!

* * *

Снег отсверкал. Но не напрасно
Сугробы высились кругом.
Уже в полях тепло и ясно,
Ручьи к весне спешат бегом,
Сияет солнце над водою,
Слышны журчание и плеск...
Они чисты, они отмоют
И взбудоражат всё окрест.

* * *

И вот случилось чудо —
Все почки взорвались!
Как будто ниоткуда,
Выглядывает жизнь.
В душе, на ветке тайной
Из слов и чувств моих
В какой-то миг случайный
Выглядывает стих...

* * *

Дождь бросает в тихий вечер
Брызги серебра.
Капли падают на плечи,
Вся трава мокра.
Каждый листик шепчет: «Здесь я
Радугой зажгусь...»
Пусть сияет в поднебесье
Сказочная Русь!

ПРОЗА



Александр Коноплин

Валяй, контра!

Невыдуманные рассказы

ДЕВЯТЬ ЧАСОВ ТВОРЧЕСТВА

Рассказ профессора Петрова

В конце ноября 1938 года меня передали новому следователю: прежний, обломав об меня кулаки, ничего не добился и за это был отстранен. Новый следователь был помоложе и, на первый взгляд, производил впечатление этакого неудавшегося семинариста — а не обычного уголовного, как его предшественник. Начал он не с мордобоя, а с того, что угостил меня папиросой.

Сначала я подумал, что всё это мне снится. Огляделся. Всё кругом было прежним, привычным: и письменный стол с пепельницей, полной окурков, и два стула — следователя и мой, привинченный к полу, и корзина для бумаг, и окно, не мытое со дня постройки этого здания, и трехрожковая люстра под потолком... Всё было прежним, только вот прежних костоломов — вечно пьяного старшины и долговязого сержанта с прыщавым лицом — в кабинете не было. Вместо них был по-домашнему сидящий на краю стола «семинарист».

Я смолил казенную папироску и, недоумевая, ждал продолжения.

Изо рта «семинариста» липкой лентой выползали слова. Смысл их был тот же самый, прежний, к которому я уже привык — меня убеждали раскаться,

Александр Викторович Коноплин родился в 1926 году в Ярославле, в семье научного сотрудника системы Главсевморпуть. В 1942 году его отец погиб на фронте, а сам Александр ушел на фронт в 1943 году, семнадцати лет отроду. Во евал, затем служил в армии. В 1948 году был арестован органами контрразведки СМЕРШ и провел в ГУЛАГе шесть с половиной лет. После освобождения окончил Ивановское художественное училище и Московский полиграфический институт. Работал в Ярославле корреспондентом телевидения, редактором Верхне-Волжского книжного издательства, учителем.

Сочинительством увлекся в школьные годы. Первая книга прозы вышла в свет в 1963 году в Верхне-Волжском издательстве. Затем в столичных издательствах «Молодая гвардия» и «Современник» были опубликованы еще несколько книг писателя. Только с 1992 года прозу А.Коноплина начали публиковать и в родном городе.

В 1991 году вошел в редколлегия книжной серии «Не предать забвению», посвященной сохранению памяти о ярославцах, незаслуженно репрессированных за годы Советской власти. С 1997 года — председатель этой редколлегии. Член Союза писателей СССР с 1964 года, ныне — член СП России.

Живет в Ярославле.

запугивали, убеждали в преимуществах чистосердечного признания, — но даже и этот, привычный для меня, смысл новый следователь сумел облечь в неожиданные, незатасканные выражения. Я поневоле заслушался, липкая лента опутывала меня, — но тут «семинарист» подустал и допустил сбой.

— А теперь давай по-хорошему: кто тебя втянул в преступный заговор против Советской власти?

Мне стало скучно. На этот вопрос я отвечал всегда одно и то же — и в качестве следующей реплики получал одно из двух: или зуботычину, или карцер. А чего ожидать от нового следвателя?

Варианты ответа, не ведущие ни к избиению, ни к водворению во узилище, были мне хорошо известны. Необходимо было — всего-то! — выбрать политическую «платформу»: либо самую распространенную, троцкистскую, либо зиновьевскую (эту выбирали реже), либо совсем уж не пользующуюся спросом бухаринскую. Выбрать — и твердо придерживаться именно ее принципов. Остальное, как мне твердили — дело следвателей. Мне нужно было только подтвердить свое участие.

Но я упрявился.

— Ну, чего ты третий месяц вола за рога крутишь? — «семинарист» подошел ко мне поближе и почти ласково заглянул в глаза. — Какая тебе разница, кем быть — троцкистом там, зиновьевцем...

— Ну, все-таки...

— Да что все-таки!.. Конец-то ведь все равно один!

— Да? А вдруг у кого-нибудь из них мне будет чуточку лучше?

— Этого не жди. Отсюда никто еще живым не выходил.

Его откровенность пришлась мне по душе.

— Послушайте... а что, если я создам свою платформу? А? Свою собственную! В конце концов, примазываться к чужой мне даже как-то неприлично — ведь приверженцы любой из этих платформ понятия обо мне не имеют... как и я о них...

— Как это — «свою»? — ошарашенно произнес «семинарист». — Зачем? У нас ведь целых три — выбирай любую! И где ты будешь эту «свою» платформу создавать? Ты же уже здесь, на Лубянке!

— Так здесь и создавать!

— Когда?

— Прямо сейчас! А чего тянуть, раз все равно конец — один? Вы только представьте: вы кладете на стол своему начальству материалы о новой вражеской платформе, раскрытой только что — и раскрытой лично вами! Вы думаете, ваше начальство не оценит по достоинству ваше усердие? Еще как оценит! И любой бы на месте вашего начальника оценил, любой бы понял, что вы не зря едите свой хлеб. Вас тут же повысят в звании... на худой конец, сразу же дадут новую должность. Вы что — до пенсии собираетесь колошматить арестантов собственноручно? Вы же молоды, энергичны, грамотны... кстати, какое у вас образование?

— Восемь классов... не закончил... школа рабочей молодежи... потом завод выдвинул на оперативную работу...

— Вот видите! У вас блестящее будущее, моло дой человек!

«Семинарист» в волнении стал бегать по кабинету.

— Ну, ты даешь, профессор! Собственная платформа... да, это не фунт изюму...

Он вдруг остановился и внимательно посмотрел на меня.

— Чего хоть писать-то будешь? Наврешь, поди-ка, с три короба!

— Клянусь честью: напишу только правду... одну только правду!

Он метнулся в коридор, вернулся, плотно притворил за собой дверь.

— Слушай... но ты хоть понимаешь, куда лезешь?

Я кивнул.

— Похоже, спекся интеллигент...

Я снова кивнул.

— Ну, как знаешь... тебе видней... постой-постой! Но ты ведь в полити-ке — это нам точно известно — ни уха ни рыла не понимаешь...

— Я просто изложу свои убеждения. Этого, надеюсь, будет достаточно.

— Мало. Нужны факты.

— Статьи, написанные мною в разное время, годятся?

— Размноженные?

— О да! Огромными тиражами...

— Годится. А что еще есть?

— Еще?... гм... сотрудничество с иностранцами, практическая деятельность в СССР и за границей...

Следователь аж подпрыгнул на месте.

— Вот это дело!

Он по-мальчишечьи засунул руки в карманы и, пританцовывая, обежал вокруг стола.

— Что ж ты раньше-то молчал, голова твоя садовая?

— Стеснялся...

— А чего ж сейчас раскололся?

— Осознал.

— А на суде не откажешься? А-то вот тут некоторые...

— Ни за что!

— И сообщников назовешь?

— Назову. Только... если можно, я буду именовать их «коллегами»... ладно? Профессорами, кандидатами наук... Для конспирации.

— Валяй, контра! Эх, мать честная! Вот уж точно: не знаешь, где найдешь, где потеряешь... Ах ты, мой дорогой!

Метнувшись к столу, он позвонил. Вошел дежурный.

— Бумагу! И чем писать — тоже! Быстрее!

Через минуту дежурный вернулся с листочком бумаги и карандашом.

Я всем своим видом изобразил праведный гнев: неужели мои чистосердечные признания стоят так дешево?

— Сколько же тебе надо? — озадаченно спросил «семинарист».

— Пачку!

Они переглянулись.

— На жалобу пол-листка дают, — напомнил дежурный.

— А мне надо пачку!

Я чувствовал, что наглею, но остановиться не мог.

— Ладно, найди где-ни то, — сказал следователь.

— Да иде теперь найдешь, — засомневался дежурный, — кабы днем, так в канцелярии бы спросить, а то — ночью...

— К Фараонову, в шестьдесят третью, зайди — он мало пишет, или к Хрюкину, этот вообще — по две строчки...

Дежурный окинул меня взором, в котором явственно читалось: «Ишь ты, какая капризная сволочь попалась...», но все-таки минут через двадцать принес пачку бумаги, ручку с заржавленным пером и чернильницу-непроливайку. Чернила оказались жидкими, перо — скверным, но я в эту минуту был готов писать любым пером, хоть гусиным — так велика была моя жажда вернуться в мир раздумий и открытий, мир, который мне, вероятно, больше не суждено было увидеть.

— Главное — чтоб всё подробно...и фактов побольше, фактов, — напутствовал меня «семинарист», усаживаясь поудобнее. — Таковую льготу, — он указал на стопку драгоценной бумаги, — отработать треба!

Я и без него понимал, что таких «льгот» у меня больше не будет... но ведь, пока я пишу, не будет и побоев. Не будут бить кулаком в печень, ребром ладони по ребрам,

каблуками по почкам, не будут обливать ледяной водой, когда я потеряю сознание — и снова бить, бить... Целых девять часов никто не тронет меня пальцем! До самого утра, до семи часов я обеспечил себе... нет, не просто покой — девять часов творчества!

У меня дрожали руки, как у алкоголика, увидевшего бутылку. Обеими руками я придвинул к себе стопку бумаги, обмокнул перо в чернильницу и, не задумываясь, начал.

Сначала я совершил небольшой экскурс в прошлое своей науки, вкратце осветив взгляды ученых различных направлений по поводу ассимиляции и диссимиляции — в то время это было серьезной темой для спора между наукой и религией. Затем перешел непосредственно к исследованиям в области генетики. В третьем часу ночи вплотную подошел к теме своей недавней научной работы — кстати, так и не законченной — искусственному преобразованию белка...

За последние семь-восемь лет я никогда еще не работал так увлеченно и продуктивно! Мой мозг вдруг перестал нуждаться в справочниках. Как одержимый, он выдавал и выдавал на-гора одну информацию за другой, точные цифры, формулы, имена коллег и даже точные цитаты из их трудов. К пяти часам утра на столе лежала та же груда бумаги, но уже вся исписанная мелким, убористым почерком. Тезисы своего последнего доклада, сделанного в свое время на шестом международном симпозиуме в Вене, я излагал уже на куске обоев, любезно содранном «семинаристом» со стены.

Когда часы пробили семь, я отложил ручку и попросил воды.

Если следователь был доволен, то я — просто счастлив. За какие-то девять часов я написал научную статью, на которую в обычной обстановке ушло бы никак не меньше месяца. Этого мало — в статье были совершенно новые мысли (если вообще не открытия), были обобщения и выводы, на которые я раньше вряд ли решился бы: они колебали авторитеты признанных столпов современной науки, а некоторые и прямо ниспровергали. Я был в восторге от своей работы.

Единственным глазом — другой пока не раскрывался — я взглянул на «семинариста». Тот, развалившись на стуле, отдыхал, поглядывая на меня с явной симпатией. Поняв, что дело сделано, он встал, потянулся, собственноручно сложил бумагу — листок к листку — и, взвесив пачку на ладони, произнес:

— Вот что... пойду-ка я с этим прямо к генералу!

— А как же ваше непосредственное начальство? — осмелился напомнить я, тут же представив себе рыжего, как огонь, капитана Куца и его пудовые кулаки.

— У моего непосредственного, — следователь обернулся на дверь, — пять классов приходской школы...

И он уважительно покачал рукой в воздухе плод моего труда, прикидывая его на вес, словно кусок говядины.

Я вернулся к себе в камеру, где на краешке нар меня уже дожидался мой завтрак — комочек каши в миске. В этот день вертухай не жучил меня, не заставлял, ненароком задремавшего, стоять по стойке «мирно»... но наступил вечер, и меня опять повели в знакомый кабинет.

Первое, что бросилось мне в глаза, была лежащая на столе толстая пачка бумаги. Я узнал ее издали — это был мой научный труд, плод вчерашней бессонной ночи. Через всю верхнюю страницу красным карандашом наискось было начертано какое-то слово, — подойдя поближе, я смог прочесть его, хотя и не полностью: начало пряталось под другой страницей. «...ёвина», — прочитал я окончание слова, и тюремный опыт тут же подсказал мне недостающие буквы. Сомневаюсь, что кто-либо из моих коллег удостаивался когда-нибудь подобной оценки за свой научный труд.

— Ты что же, гад — издеваться? — свистящим шепотом произнес «семинарист» и ударил меня кулаком в здоровый глаз.

В свою камеру я вернулся на восьмые сутки.

ЛЮДОЕД

Вся площадь от крыльца политотдела до проходной была забита солдатами. Хотя заседание военного трибунала было закрытым, все уже знали, что никакие мы, я и двое моих подельников, не «шпионы» и не «антисоветчики» — просто «болтуны», но что сейчас, осенью сорок девятого года, даже и таких сажают. Пока мы шли к машине, нам кричали из толпы, что стукачей и провокаторов в полку отныне будут беспощадно метелить, бросали нам пачки махорки, сигареты. Врал следователь, говоря, что стоит мне появиться на территории воинской части, как меня, комсорга первой батареи, тут же разорвут на куски бывшие сослуживцы...

В камере Минского централа, куда меня привезли, содержалось человек сорок: вонючий, душный воздух, от влажной жары нечем дышать. Вдоль стен — двухъярусные нары, сваренные из металлического уголка; на черных от грязи досках — набитые опилками тюфяки. Голые по пояс мужчины разного возраста, мучимые духотой, кошмарами, болью в сломанных во время допросов ребрах, храпели, стонали, метались во сне: была уже поздняя ночь.

Свободное место нашлось на верхних нарах, как раз над парашей. Тюфяка не было вовсе.

— Ничего, — сказал дежурный, — до утра поспишь и так, а там скажешь моему сменщику, найдет чего-нибудь...

Он захлопнул дверь, а я присел на краешек нижних нар и задумался. Ситуация была не вполне понятной: абсурдное обвинение в шпионаже отпало, но статья 58-10 висела надо мной, как дамоклов меч. «Антисоветская агитация...», а какая, к черту, агитация? В разговоре с сослуживцами я похвалил американский «студебеккер» и ругнул нашу «полупорку», да еще при обыске у меня нашли дневник, куда я записывал кое-какие мысли. Оказывается, их тоже нельзя хранить...

— С воли, дорогой? Из какой части?

Я поднял голову. Тучный человек очень высокого роста, в грязных кальсонах и босой, склонился надо мной. Полотенцем он вытирал лоснящиеся от пота грудь и живот.

— Да нет, не с воли... с заседания трибунала привезли. Вернули на допрос. Уж лучше бы осудили! Сколько можно еще здесь париться?

Он сел рядом, тяжело вздохнув.

— Курево есть?

— Есть, накидали ребята... Вот, берите махорки, закуривайте айте.

— Да бумаги нет ни клочка. Может, сигаретка найдется?

Сигарета у меня тоже нашлась. Я закурил сам, и какое-то время мы сидели молча. Затем он протянул мне мягкую, потную ладонь.

— Смородин, Михаил Григорьевич. Дивизионный комиссар. Был начальником политотдела корпуса.

Я назвал себя.

— Артиллерия, значит? Здесь много нашего брата, вояк... Все рода войск представлены. Завтра познакомишься.

— Сегодня уже.

— Да, уже сегодня.

Мы опять помолчали. Подошел еще один мужчина, тоже голый до пояса, помочился в парашу и присел рядом. Закурили втроем.

— Это Василий Денисович Третьяков, — сказал Смородин. — Герой Советского Союза, майор.

— Капитан, — хрипло поправил мужчину, поглаживая себе грудь, — в шестой гвардейской служил...

— Он — по первому заходу, — пояснил Смородин, — обвинительное заключение подписал, теперь вот ждет трибунала, переживает.

Капитан вновь погладил грудь, дернул губой.

— Болит? А ты не переживай — может, и болеть перестанет. Один ты, что ли, без вины виноватый? Смотри, сколько нас! А по твоей статье больше червонца не дадут, не положено.

— Червонец... — невесело хмыкнул Третьяков, — легко сказать... Его еще прожить надо, это ведь не неделя. А еще смотря куда законопатят... ну, как на Колыму?

Камера понемногу просыпалась. Подошли еще двое и уст авились на меня. Смородин представил меня, назвал поименно подошедших. Один из них оказался бывшим танкистом, другой — сапером.

— По твоей статье идут, Василий Денисович, — сказал Смородин. — Так что, держи голову выше: всем по червонцу сунут.

— Хоть бы куда поближе направили, — весело произнес танкист, — гомельский я. Полста кэмэ до дому...

— На это не надейся, — успокоил его Смородин. — Ты со своими маховиками нужен родине на дальних рубежах строительства коммунизма. Для ближних и комсомольцев хватает.

Опять воцарилось молчание. Дым от сигарок становился все гуще.

— Сегодня Малыш дежурит, — вдруг встрепенулся танкист — ты бы, старшой, встал к кормушке. — Раздачу, похоже, с нас начнут, а у тебя с Малышом симпатия...

Было слышно, как в коридоре стучали черпаки, гремели миски. Явственно пахло рыбой.

— Опять килька, волки позорные... — выругался танкист. — Небось, весь Каспий вычерпали!

— И правильно сделали, — заметил кто-то, — в кильке фосфор.

Бывший корпусной политрук встал к кормушке. Через минуту она от крылась, и в темном квадрате показалось бледное мальчишеское лицо, наполовину закрытое лакированным козырьком фуражки.

— Камера сорок, — тонким голосом сказал дежурный кому-то позади себя, — тридцать три человека.

— Тридцать четыре, дорогой, — поправил Смородин, — ночью еще одного привезли.

— Ну, тогда принимай, староста.

Смородин подставил к кормушке картонный короб и туда посыпались куски хлеба.

— А почему опять одни горбушки? — возмущенно закричал танкист.

Ему никто не ответил. Арестанты уже выстроились в цепочкой, настроение у только что пробудившихся обитателей сороковой камеры было мирным.

— Принимай первое, — сказал Малыш.

Сильно помятые и вряд ли когда-нибудь мытые миски поплыли от кормушки в глубину камеры.

— Держи, новенький, — кто-то протянул мне алюминиевую миску с мутной, вонючей жидкостью, — ложка есть? Ложки нет... Пей через край.

С баландой камера разделалась мгновенно. Затем дверь отворилась и два уголовника внесли молочный бидон и кружки.

— Чай, — зачем-то пояснил дежурный, внезапно появившись в дверях.

На вид Малышу было лет восемнадцать-двадцать. Белое, бескровное лицо и большие, навывкате, глаза со слезой выдавали нездоровье; кисти рук торчали из обшлагов старенького кителя. Тонкие ноги болтались в широких голенищах немецких армейских сапог.

— Как фамилия новенького? — спросил он тонким голосом.

Я назвал себя.

— Староста, у вас Картович на выезде, — сказал Малыш, окидывая меня взглядом, — вернется завтра. Так что, первое и второе отдайте этому.

Он исчез так же внезапно, как и появился.

Камера медленно, смакуя, пила чай.

— На выезде, — неспешно произнес Смородин, полируя кусочком хлеба дно своей миски, — знаем, что на выезде, давно уж отдали. Повезло Картовичу — домой поехал, своих увидит...

— Как же, повезло, — не замедлил откликнуться бывший танкист, — вышка Ваньке корячится, не знаешь, что ли? Полицаем был при немцах... И своих он не увидит, всю его семью еще весной замели, мне мать в часть писала.

— А детей куда девали? У него ж дети...

— Тех в детдом, в Барановичи.

— А стариков?

— Те тоже сидят, — пояснил танкист, — отца следом за Ванькой взяли, а мать через месяц, вместе с женой. Жена тут парится, в восьмидесятой камере. Нынче ночью маляву мужу подогнала, не знает еще, что его увезли. Пишет, что на больничку скоро ее возьмут, рожать будет.

— Повезло и ей, — сказал сапер, — с дитем далеко не загонят...

— Это пока грудью кормит, — возразил неугомонный танкист, — а там просто: дите — на девятый, под Минском, а мамку... мамку могут и в Магадан упрятать, как жену полица...

Неторопливый разговор о судьбе полица и его жены был прерван истошным воем: рядом с нами с верхних нар свалился и начал корчиться на полу молодой парень. Лицо его исказилось от напряжения, глаза вылезали из орбит, на губах выступила пена. Со всех сторон к нему бросились арестанты, навалились, удерживая эпилептика за руки и за ноги. Смородин опустил на колени, пытаясь алюминиевой ложкой открыть парню рот.

— Небось, с детства это у него, — сказал кто-то рядом со мной, — говорят, по наследству такое передается...

— Хрена с два! — авторитетно возразил танкист. — Следователи довели. Уродовали, как бог черепаху, ногами метелили, в карцер, чуть что, сажа -ли — вот парнишка и дошел до кондиции.

— А кого не метелили? У меня вон — три зуба осталось!

— А битье — оно на кого как действует, — объяснил танкист. — Деревенскому оно ничем, в деревне то и дело хлещутся. А городскому, конечно, в диковинку такое дело...

Эпилептик перестал корчиться, и теперь только тихо стонал, закрыв, наконец, белые, как у судака, глаза. Те, кто держал его, начали с опаской вставать. Поднялся и взмокший от борьбы Смородин, поднимая над головой и показывая камере то, что осталось от ложки.

— Надо же! Почти перекусил!

— Лепила идет, — сказал танкист, — а мы уж и сами справились.

В дверь, однако, вошел не врач, а старший надзиратель — мордатый, угрюмый амбал с заплывшими свиными глазками. Из-за его спины, впрочем, выглядывало очкастое личико докторши.

— Кровь вытрите, — буркнул амбал. — Язык не откусил?

— Не успел, — спокойно сказал Смородин. — Это просто губу мы ему разбередили, когда зубы разжимали...

— А чем разжимали, — насторожился надзиратель. — Где железка? А ну, дай!

Смородин протянул ему остаток ложки. Глаза амбала еще больше сузились, превратившись в злобные щелки.

— Сука! Людоед! Лапшу мне на уши вешаешь? В карцер захотел? А ну, давай настоящую железку! Этим, — и он бросил на пол изжеванную зубами ложку, — только в твоей заднице ковырять!

— Ничего у нас нет, — неторопливо ответил староста камеры, — ложкой разжимали. Найдете чего — тогда можно и в карцер.

Он спокойно стоял перед надзирателем по стойке «смирно» — высокий, тучный, с нездоровым честным лицом. Амбал с минуту колебался, потом сунул ложку в карман и вышел из камеры.

Сморозин оглядел нас, помолчал и, отойдя в сторону, лег на свой тюфяк. Мы же, взволнованные происшедшим, расходиться не спешили.

— Обошлось, однако, — выдохнул сапер. — Старшого нашего в карцер никак нельзя — загнетса....

— Ну да, — засомневался кто-то из новеньких, — он же упитанный, вроде. А почему людоед?

— А ты спроси у него сам, он не скрывает, — хохотнул танкист. — А что толстый он — так это не упитанность. Это вода, после дистрофии у всех так...

Признаюсь, меня тоже заинтересовало, почему надзиратель назвал «людоедом» симпатичного, интеллигентного человека, к которому я уже успел привязаться. Танкист тут же открыл мне эту тайну, сказав, что в немецком концлагере Смородину приходилось есть людей, но я ему не поверил: уж слишком чудовищно звучало слово «людоед» по отношению к дивизионному комиссару, бывшему начальнику по литотдела корпуса. Я, конечно, уже успел вдоволь наслушаться историй о беглецах, которые берут с собой в побег «корову», не слишком догадливого зэка, а затем съедают его... но ведь то — урки. А тут — Смородин...

Но тем же вечером, заметив, какие взгляды я на него кидаю, Михаил Григорьевич сказал мне:

— Что, интересуешься? Да, дорогой, было и такое в моей биографии...

Рассказывал он часа два — и чем дальше рассказывал, тем мне всё меньше хотелось верить ему. Но и не верить было нельзя.

Передаю рассказ Смородина так, как я его запомнил.

— Нас окружили под Минском, в самое горячее время, летом сорок первого. Даже и повоевать не пришлось. Числа двадцатого июня пришел приказ из штаба округа: слить все горючее из баков, для их промывки. Солярку — отдельно, бензин — отдельно, как положено. Приказ есть приказ: слили... а через сутки — бабах! — война.

Даже и то, что это — война, мы долго не знали: из штаба округа долдонили о каких-то маневрах... В общем, взяли нас как котят, без единого выстрела. Да и в кого стрелять? Немцы уже весь наш штаб и всю дивизию танками окружили. И остальные части — тоже; в них, оказывается, приказ относительно горючего тоже получили — ну, и исполнили, как полагается.

Сначала-было наши штабные смешались с бойцами: обмотки вместо сапог накрутили, гимнастерки солдатские надели... Но немцы быстро разобрались, — думаю, не без помощи предателей, — и отсеяли «чистых» от «нечистых». Особенно старательно искали евреев, особистов и комиссаров. Что касается меня и еще одного офицера из нашего политотдела, то нам пришлось помыкаться: обоих долго возили по лагерям военнопленных, но не по общим, а по особым. К марту сорок второго привезли на какой-то остров в Северном море,¹ вблизи германского берега. Это был настоящий лагерь смерти: во всех остальных хоть как-то, но кормили — даже в штрафных, вроде

¹ * Один из островов Восточно-Фризского архипелага, скорее всего — Триштен (примечание автора).

Освенцима, Бухенвальда, Майданека... А в этом не кормили вовсе. Ради развлечения охрана, правда, бросала иногда через забор телячьи шкуры — и смотрела, как голодные люди дерутся из-за клочка вонючей кожи.

Контингент лагеря был особый: коммунисты из всех стран (причем, только руководящие кадры), комиссары ранга бригадных, неугодные Гитлеру политические деятели. Русских было мало, а те, что были, скрывали от остальных свою национальность: ведь коминтерновцы считали, что Советский Союз их предал...

До того, как поместить сюда весь этот контингент, гитлеровцы держали в этом лагере каких-то других узников. И тех, видимо, все-таки кормили: в центре зоны была большая яма с фекалиями. С нее мы и начали. Очень скоро мы эту яму не просто выскоблили досуха, но и землю съели сантиметров на пять. Не веришь? Вот и многие не верят, а зря: в фекалиях очень много питательного. Мухи-то едят, да и собакам только давай. Тебя, вижу, мутит... ничего, терпи, если уж захотел всё знать. Следователя моего тоже сначала мутило, но все-таки пришлось поверить... Тем более, что выгребная яма — еще не самое худшее в моей жизни.

Когда съели все фекалии, стали есть людей. Наверное, ели и раньше, просто я этого не замечал. Те, у кого еще имелись силы, охотились за теми, у кого силы были на исходе. Охотились обычно ночью, потому что охрана стреляла в каннибалов с вышек. Что смотришь? Да, и я пошел на это... на моих глазах умерли сотни людей, а я очень хотел жить. И однажды решился.

Надо сказать, что бараков в этой зоне не было: наверное, их сожгли те, кто жил тут раньше. Но кое-какие деревянные постройки еще остались — и вот мы их понемногу разбирали и сжигали на кострах. А спали кто где, стараясь только лечь так, чтобы не было видно с вышек: часовые развлекались еще и тем, что стреляли в узников, стараясь попасть в голову.

Какое-то время я дружил с одним немолодым югославом, соратником и близким другом Иосифа Броз Тито. Он быстро угасал, а когда понял, что умирает, сказал: «Братушка, съешь меня! Проживешь еще, а там, бог даст, и наши придут... я не хочу на кучу!»

Куча эта, от которой несло зловонием, была в самом дальнем углу зоны — каждый, кто чувствовал, что подходит его смертный час, обязан был ползти на эту общую кучу... прямо, как слоны в Африке. Тех, кто не полз на кучу, клеймили как подлецов и предателей. Один, помню, пополз не туда, а к святой святынь — водоему в центре зоны. Так в наказание за это узники его труп сожгли! Собственно, с этого для меня всё и началось: в ноздри ударил запах жареного мяса...

Полусгоревшего нарушителя начали есть еще до меня, но охрана открыла стрельбу — и каннибалы разбежались. А я выстрелов с вышек не боялся — мне уже было всё равно. И еще я понимал, что за мной тоже вот-вот начнут охотиться... раньше-то нас было двое с югославом, могли как-то отбиться. И вот ноги сами подвели меня к тому, полусгоревшему, недоеденному. Я подошел и попробовал то, что осталось. А потом решил присоединиться к группе.

Я нашел их возле костра — четверо сидели на корточках, совсем как дикари в каменном веке. На меня они даже не посмотрели. Я сказал: «Можно мне — с вами? Я очень хочу есть». Они не ответили. Я повторил это по-немецки, по-английски, по-польски... и когда, наконец, произнес это по-чешски, ко мне подошел один и сказал: «У тебя есть нож, мы видели. Позже пойдешь с нами, а пока садись к костру и стереги, а мы будем спать».

Я сидел у костра и по спине у меня бегали мурашки. Потом это прошло.

Никто из них не спрашивал, откуда я — это их не интересовало. Судя по лицам — голод меняет многое, но интеллект остается с человеком до конца — все четверо были рабочими. Во всяком случае, не военными — они не пони-мали команд. Благодаря знанию

языков, я понял, что все они — малограмотные... для меня осталось загадкой, как они вообще попали в этот лагерь.

— Как вы это делаете? — спросил я, показав на нож. Они поняли.

— Мы следим за теми, кто ползет в сторону кучи. Мертвых нельзя есть. В человеке яд появляется быстро, но пока ползет, он живой.

Страшно подумать, дорогой мой, к чему человек может привыкнуть.

И я привык. Мы выслеживали слабых: выбрав момент, набрасывались скопом и... эти подробности, думаю, тебя не интересуют. Мягкие части тела мы жарили на костре, или варили. За нами, кстати, тоже охотились — в лагере было, по крайней мере, с десятком подобных групп — поэтому мы всегда держались настороже: когда четверо спали, один обязательно бодрствовал.

Наша группа была наиболее сильной. Во мне, к примеру, тогда было килограммов сорок. Помню, в апреле сорок третьего года в лагерь из Италии привезли принца крови, при нем даже имелась охрана — шесть человек. Принц был, по нашим понятиям, страшно жирным — но, поскольку его тоже не кормили, быстро начал сбавлять вес. И все-таки упитанность позволила ему продержаться месяца три — это очень много. Однажды наступил момент, когда он оказался без охраны, и тут мы стали за ним охотиться. Несколько раз набрасывались впятером, но принц раскидывал нас, как щенков — он был еще в силе. Когда мы все-таки его схватили, то даже не стали орудовать ножами — просто впились в его тело зубами: в руки, в ноги, в живот... до сих пор помню этот запах свежей крови. Этот принц помог нам протянуть еще немного.

Мы, пятеро, умирали последними. Умирали не от голода — вода, которую мы пили, тоже убивала. Весь лагерь к тому времени был завален разлагающимися трупами; охрана их не убирала, она вообще никогда не входила в зону. И вот тут появились военные...

— Немцы?

Это был первый вопрос, который я решил задать Смородину. Высокий, грузный, с нездоровым отечным лицом и вечным полотенцем в руках, староста сороковой камеры сидел на грязных нарах напротив меня и, не пряча глаз, неторопливо рассказывал о своей ужасной одиссее.

— Нет, дорогой, не немцы. Американцы. Да, меня освободили американцы — и в этом, получается, моя единственная вина перед Родиной и партией. Факт моего пленения в сорок первом установлен: я действительно попал в плен безоружным. Виновен, получается, только в том, что не покончил с собой в момент пленения и что был освобожден американцами.

Самого момента освобождения не помню: был без сознания. В госпитале мне сделали переливание крови, долго лечили сердце, печень, почки. Впервые я открыл глаза весной сорок пятого, буквально воскрес из мертвых. А через три месяца после этого воскрешения меня передали советскому командованию... и вот я здесь, перед тобой.

— Так вы с лета сорок пятого сидите?

— С осени. Долго длились всякие проверки, шла фильтрация на предмет выявления шпионажа. Военный трибунал судил меня дважды: в сорок шестом и в сорок седьмом. Первый раз почти оправдали: случай в практике этих органов — невероятный. Для страховки направили дело на доследование, всё заново перелопатили и опять пришли к выводу: не виновен! Я сам видел бумаги! Ждал последнего заседания трибунала... и тут что-то сработало против меня, какая-то шестеренка в машине военного правосудия. В самый последний момент меня решили не выпускать — видимо, на всякий случай. Судили, конечно, дали двадцать пять и пять поражений в правах. Я написал жалобу, дело опять вернули на доследование, теперь вот жду третьего трибунала. Но относительно его решения я, дорогой, не сомневаюсь...

Я вопросительно посмотрел на него.

— Правительства — как люди: они ненавидят того, кому причинили зло. Все страны мира берут бывших узников на полный пансион и лечение, наша же страна сажает нас в тюрьму. Но это же чудовищно! Я всегда так верил партии! Даже там, в лагере смерти, и после, в американском госпитале, твердил, что остаюсь коммунистом. Надо мной смеялись... да и теперь смеются. Один мальчик -воришка недавно крикнул, показывая на меня: «Смотрите — придурок!» и повертел пальцем у виска. Наверное, ему что-то рассказали взрослые... Вот ты недавно с воли, у тебя еще всё в порядке с логикой и здравым смыслом — скажи: что же все-таки случилось со всеми нами? Неужели наша Советская власть всегда была такой — а мы верили тем богам, которых сами же и создали? В фильтрационном лагере я все еще ждал, что вот-вот поеду домой. Теперь уже не жду, начал многое понимать.

Я сидел, смолил оставшиеся сигареты — и молчал. Что я мог ответить Михаилу Григорьевичу? Моя собственная лагерная одиссея еще только начиналась...

ПРОЗА



Николай Бойко

Павлык, це ты?

РАССКАЗ

*«Куда, в сущности, девается время?
По- настоящему оно никуда не исчезает,
оно всегда с нами».*

У.Фолкнер

Спустя много лет, когда в моей изрядно захламленной, ослабевшей памяти вдруг что -то расчистилось, меня властно потянуло на то место на земле, с которого все и начал ось — на тот перегон, где немецкие «Юнкерсы -87», или «горбачи», как мы их называли, налетели на наш воинский эшелон, и нагло, безнаказанно разбомбили его, расстреляли с бреющего полета.

Мне верилось, что я узнаю его сразу. Мне казалось: как только я ступл ю ногой на то место, где наш вагон сорвало с рельс и опрокинуло — сразу что-то, подобно стрелке спидометра, вздрогнет во мне и замрет, я остановлюсь и скажу себе: «Вот здесь! Отсюда ты пополз к тому селу...»

Но я ошибался.

Я довольно далеко уже отошел от станции, и моя уверенность в том, что я почувствую то место не только сердцем, но и подошвой своего ботинка, изрядно поколебалась во мне. Я не узнавал перегона. Тогда он был однопутный и в обе стороны голый. Слева, помнится, простиралось, кололо глаза желтой стерней скошенное хлебное поле. Справа — под острым углом —

Николай Андреевич Бойко родился в 1925 году в белорусском Полесье, в семье крестьянина - середняка, покинувшего родные места в период раскулачивания. Учился в Киевском железнодорожном техникуме, закончить который помешала война. В 1941 году был призван в Красную Армию, на Полтавщине попал в плен, бежал; выданный полицаями немцам, был отправлен в Германию на работы. Из Берлина вновь бежал, направляясь в чешскую Моравию, но был задержан советскими войсками и отправлен в лагерь. Став из заключенного спецпереселенцем, окончил курсы буровых мастеров, работал на шахтах ГУЛАГа — буровым мастером, геологом, начальником участка картировочного бурения. Заочно учился в Воркутинском филиале Ленинградского горного института, откуда был отчислен по политическим мотивам. Затем работал машинистом бурильного станка, мастером, геологом в организации «Инташахтгеология».

В настоящее время — пенсионер.

Повести и рассказы Н. Бойко публиковались в журналах «Север», «Неман», «Звезда», «Радуга», «Уральский следопыт», «Волга», «Молодая гвардия», «Русь». В 1989 году в Верхне-Волжском книжном издательстве опубликовал книгу прозы «Новая хата с холодными углами». За роман «Под Андреевским флагом» удостоен областной литературной премии. Член Союза писателей России. В 2005 году опубликовал в нашем журнале подборку рассказов.

Живет в городе Шуе Ивановской области.

стояло сельцо, отмежевавшись от железной дороги небольшой речкой и зеленым лугом, поросшим кучерявыми вербами.

Сбивали меня с толку не столько перегон и появившееся рядом с ним шоссе, сколько почти полное исчезновение речки и луга. Луг -то, ладно уж, могли и распахать, думал я, но куда подевалась речка? Неужели вон тот, слабо заметный отсюда, с полотна железной дороги, пересохший во многих местах ручеек — и есть та самая речка, которую я тогда никак не мог одолеть?

Я прошагал еще с полкилометра. И будто током меня ударило: здесь! на кривой!..

Да, здесь. Мое сердце медленно наполнилось неприятным холодом, который, оказывается, никогда меня по-настоящему и не оставлял. Разве только уж в самые радостные и счастливые минуты жизни деликатно отступал он в сторону и терпеливо там ждал, чтобы вскоре тихо и незаметно возвратиться и занять обжитое место.

Я сидел на краю невысокой насыпи, смотрел на сельцо, курил, и что -то время от времени во мне вздрагивало и боязливо как бы поскуливало. Будто я снова полз, то и дело поднимаясь на дрожащих от слабости руках и вглядываясь в отходившее ко сну село, надеясь, что немцев в нем пока еще нет...

Сил мне хватило тогда ровно на то, чтобы доползти до крайней в порядке хатки с обнадеживающе белеющими в ночных сумерках стенами. В самой хатке уже не горел свет, окна ее были черны, но это меня в тот момент не огорчило, а обрадовало. Подумалось: не надо будет стучаться и долго объяснять, кто я и зачем, приткнусь где -нибудь во дворе... У меня уже не было ни сил, ни желания что -то делать: неудержимо тянуло ко сну и глаза слипались сами собой.

Тут же, во дворе возле порога, я и уснул бы. Но подсознательное ощущение острой опасности, которое, вроде бы отделившись от меня, распоряжалось, тем не менее, всеми моими действиями, заставило заползти под навес. Здесь я зарылся в солому и уснул — словно провалился на тот свет.

Утром меня разбудили голоса людей. Я был так слаб, что почти не отреагировал на их присутствие. Как в тумане, виделось мне чье -то слабо белеющее лицо, все время куда -то исчезающее, слышался чей -то запредельно далекий, едва доходящий до моих ушей голос. Он дрожал сквозь меня и, не задевая сознания, пропадал где -то далеко за спиной. И только иногда, на совсем малое время, с моих глаз спадала густая пелена, и я видел какую -то дивно красивую, неземную девушку, и начинал понимать, что ее долгий, высокий и крик относится именно ко мне, что это она меня обнаружила и зовет сюда еще кого -то.

На ее испуганный зов прибежала еще одна женщина. Теперь они обе стояли под навесом и молча меня разглядывали. Смотрели и молчали.

Я попробовал сесть и что -то сказать, что -то успокоительное, чтобы они не боялись и не поднимали лишнего шума, а главное — перестали так смотреть. Это мне не удалось, я снова завалился на спину, безголосо прошептав уже внутрь себя, что я дождусь ночи и уберусь, что не стану их обременять, что я раненый красноармеец с разбитого у них под селом эшелона...

— Це ж, доньке, якийсь солдатик прибився до нашої хати, поки ми з тобою солодко спали, — проникло сквозь грохот и звон в мою голову. — Зовсім ще дяття, може, трошки старший вид нашого Петрика?

Мне помогли сесть.

— Як же зваты тэбэ? — участливо спросила старшая.

— Павлом, — ответил я через силу, чувствуя, как снова темнеет в глазах и обносит голову.

Меня затащили в хату — и тут я надолго куда -то провалился, в какую -то горячую, с обжигающим воздухом, печь, из которой меня поче -му -то не вытаскивали, а только

давали пить что-то остужающее, не утоляющее жажды — какие-то, догадывался я, изредка прорываясь в живой мир сознания, целительные травяные отвары.

Потом, — говорили, что до того дня я две недели пролежал в горячке, в бреде, — пришел сухонький, сивый дед Панас. Легкой белой тенью опустился на табурет рядом о моей кроватью и попросил, чтобы я набрался духу и внимательно его выслушал.

— В сэло, — сказал он, — пришлы нимци. Ведуть сэбэ хуже свинэ й — не стыдятся нагадыть даже у хати и рижуть у людэй всю скотыну, ловять кур...

Но он тут же успокоил меня, сказав, что я могу спокойно лежать и поправляться. Люди выбрали его своим старостой, а моя хозяйка ему большая родня: Галя приходится ему внучкой, а ее matka Мария — родной дочкой. Зять его тоже где-то в Красной Армии воюет. А он, старый, принес мне селянскую одежду. Я должен в нее сейчас переодеться, а свою военную снять, он спрячет ее, у него искать не будут.

Дед выложил передо мной крашенные х ольцовые штаны, серую ситцевую сорочку с узким стоячим воротничком и тоже узкой длинной манишкой, ушитой рядом мелких белых пуговичек, и еще не очень поношенный хлопчатобумажный пиджачок. Поставил на пол и полубрезентовые ботинки, точно такие, в каких я бег ал когда-то в школу. А все мое, тут же при нем снятое и завязанное теткой Марией в тугой узел, забрал и унес с собой.

С того вечера я сделался племянником тетки Марии, сыном ее старшего брата Ивана Кандыбы из далекого села Яблоньки, что в соседнем районе. Колхозную скотину коммунисты заставили угонять в тыл, в Россию, но я, небоже, угодил со всем стадом под бомбежку, и вот теперь прибился к тетке, пережидаю у нее войну. А в Красной Армии сроду-веку не был, молодой еще...

Галя, почти моя ровесница, всего на год моложе, не отходила от меня. Всякий раз, поднимая тяжелые веки, я видел над собой ее низко опущенное, озабоченное лицо с большими карими глазами, остановившимися в какой-то своей задумчивости. Я всегда застигал их в тот самый момент, когда они изучали меня, и в них каждый раз будто зажигались ясные малые свечки.

— Ты чего? — спрашивал я осторожно.

— Так, дывлюсь... — краснела она и быстро отворачивалась.

Именно тогда я и полюбил ее, полюбил так, что и сказать невозможно. Весь белый свет для меня на Гале клином сошелся. И совсем не настои и отвары из пахучих трав, а ее карие, все чего-то ждущие, выпытывающие очи делали меня, что ни день, здоровей. И хоть забегала в хату то и дело другая дивчина, подружка Галины, Олька, хоть вертелась она целый день у меня на глазах, не было для меня никого краше внучки Панаса.

Довольно скоро я уже стал самостоятельно передвигаться по горнице, подходить к окну, за которым давно бился другой мир. И все чаще начал задумываться о своих дальнейших делах, все напряженней всм атривался в вызолоченный осенью сад и как бы раздвинутое, высветленное похолодавшим воздухом пространство. Вот -вот, думалось мне, я закурлычу, как отбившийся от косяка журавль, и ничто меня уже не задержит — ни любовь, которая уже жила во мне и делала меня своим рабом, ни верная возможность попасть немцам в руки.

Немцев-то можно было обхитрить, обойти стороной: они не стояли на каждом шагу и углу. Но за ноги и за руки, не успевал я даже подумать о своем уходе, хватала любовь к Гале. Эта любовь, будто прочная невидимая нить, звенела в пространстве, и я слабел духом, чувствуя, что не порвать мне ее вот так запросто, и злясь на себя из -за этого,

В конце сентября я все же оставил их. Невмоготу стало, извелся весь. Встану утром, начну что-нибудь делать по хозяйству — вроде, справился с собой. Ан нет, не в коня корм! Ночью, едва освободятся руки и голова от дневной суеты и тревоги — снова тоска, что липучая сера, снова сны о дороге в свою часть...

Тетка Мария приставала ко мне с расспросами: отчего я такой, почему? Может, они чего не так делают? Может, наша Галя чем-то обидела? Из хаты гонит тебя?

— Никто меня не гонит и не обижает, — отвечал я. — У вас я, как у себя дома. Да только солдат я, воевать мне положено.

— Дэ уже та проклята вийна! Як до нэи одын добере шься? Пидожды, сынок, до вэсны! Ось и моя Галя так тоби скаже. Бачишь, стоит сама нэ своя! — говорила Мария, заглядывая мне в глаза.

— Вот здесь болит, словно кто ножом в ране проворачивает, — показывал я на грудь. — Пойду, не отговаривайте.

— Якому чорту-дьяволу в зубы? Дэ той хронт — далэко, нэ дойты!

— Пойду. Нельзя мне иначе.

А сам чуть не плачу.

Про Галю и ее мать и говорить нечего: обе они, что ни день, утопали в слезах, разлившихся, казалось, по всей их беленькой, опрятной хатке с поникшими рушни ками на окнах и в переднем углу, над божницей.

— Ну, колы цэ такэ дило, — развел дед Панас руками, — то що зробишь? По соби добрэ знаю, як був солдатом ще в ту ерманьску... Шагай, хлопче!

Собрала тетка Мария мою дорожную суму -торбу, набила под завязку. Чего только не оказалось в той сумке! Смена белья, два круглых хлеба, добрый кус соленого сала, кольцо жирной домашней колбасы, десяток вареных яиц...

Дед Панас сунул было туда же свои широкие, как у запорожского казака -сечевика, шаровары, да Мария устыдила его и, светло всплакнув, вытащила из семейного сундука почти новый суконный костюмчик.

— На ось, надинь. Сыночку пошили перед вийною...

Но костюм я не взял. Пусть лежит и дожидается своего хозяина. Даст Бог, дождется!

Покормили меня в последний раз, вывели еще по темноте за хатки, научили, как складно немцам врать, где и какое стоит село и как оно называется... Еще раз попытались было отговорить, отсоветовать, но, наткнувшись на какую-то отчаянную решимость в моих глазах, отступились.

Трижды перекрестили на дороге.

— Нэхай Бог тоби, сынок, допомагае! — опять всплакнула тетка Мария.

Завытирал и дед Панас предательски заморевшие, заморгавшие глаза, выдавшие всякое лихо, засморкался.

Оторвал я их, наконец, от себя.

Долго-долго, пока видно было мне село, видел я, оглядываясь, свою Галю: вместе с матерью и дедом медленно шла она в полутьме, и брели они все трое, тулясь друг к другу, как рано осиротевшие телята.

«Какая-то она сейчас? — думал я, правясь через поле к селу. — Поди, и не узнаю, пока сама не назовется...»

Нежаркое послеобеденное солнце светило мне в спину, подталкивало. Его косые лучи натыкались на серые соломенные стрехи и белые стены хат, будто специально высвечивая каждый уголок на улице. Но не было нигде той опрятной украинской хатки, кото рая часто виделась мне в моих снах. Было только то самое место. И тот огород, в котором мы втроем — тетка Мария, Галя и я — осенью выбирали картошку. А все остальное — новый бетонный колодец с воротом, горделивая, вся из красного кирпича хата на каменном фундаменте, голубой штакетник перед высокими окнами — все это было мне чужое и вызывало лишь опасение, предчувствие какого-то разочарования.

Как только я отворил калитку, из глубины двора густо залаял рослый лохматый пес. Он загремел туго натянутой цепью и угрожающе встал на задние лапы — и я невольно попятился назад. Но на крыльцо в это время вышла незнакомая мне молодайка с круглым

румянощеким лицом. За спиной у нее тотчас вырос высокий узкоплечий мужик, такой черный и буйный волосом, что вроде как и во дворе потемнело.

Медленно спустившись с крыльца, он подошел ко мне, твердо и немного внутрь ставя кривоватые ноги.

— Кого вам трэба, добрый чоловіче? — спросил он, пытливо поглядывая то на меня, то на мой потертый брезентовый вещмешок.

— Добрый вечер, — сказал я, и осекся.

Все заранее приготовленные слова враз вылетели из моей головы. Хорошо, если эти люди каким-то боком родня моим давним знакомым. А если нет?

Из дома выбежали дети — девочка лет семи-восьми и парнишечка, совсем еще карапуз. Они тоже с недоверчивым любопытством уставились на меня и мой полупустой вещмешок. Я же смотрел на них и их родителей и, сколько ни старался обнаружить в ком-то хоть незначительное сходство с теткой Марией или дедом Панасом, не находил его.

— Дядэчку, — вывела меня из минутной задумчивости девочка. — Вы, часом, нэ портретыки с карточок робытэ?

— Нет, щебетунья, — улыбнулся я. — Я просто хотел спросить у твоих хороших папы и мамы, не знают ли они, где сейчас те женщины, что жили на этом самом месте? Старую звали теткой Марией, а ее молодую дочку — Галей...

— Нэ чулы про таких, звыняйтэ, — ответил хозяин, немного подумав. — Кажуть люды, стояла тут яка-то старенька хатка. А куды подивалась и дэ из ии тыи жинки, то нам нэ видно. Живемо мы тут нэ дуже давно. На пустэ м исце уже силы и побудувалысь.

— Пересэлылы нас з Западной Украины, — уточнила женщина. И неожиданно участливо спросила: — А вы им, пробачайтэ, якийсь родыч будэтэ?

Что мог я ответить им — ей и ее мужу, выжидательно смотревшему на меня и, быть может, опасавшемуся каких-либо неприятностей из-за моих возможных притязаний на снесенную хату? Что никакой я тем женщинам не родственник? Но не было у меня в жизни людей ближе и дороже, чем Галя с Марией. И по сию пору тепло их добрых сердец согревало меня. Нет, родственник я им, сказал я в тот миг сам себе, близкий, кровный родственник! И сын, и зять, если хотите.

— Родич, — подтвердил я, глубоко вздохнув.

— И здалэку, майбуть, прыхалы?

— С краю земли.

— Ой, Божечки! — ойкнула хозяйка. — А их тут вже и нэма. Можэ, и на билому свити не живуть!..

Все же я вошел во двор, который стал значительно шире — хоть возом со снопами заезжай и разворачивайся, нигде не зацепишься. На месте бывших хлева и навеса сейчас стоял вместительный кирпичный сарай, в нем сыто похрюкивал откор мленный кабанчик, пудов этак на шесть. Была тут, судя по толстому стожку сена в огороде, и корова; на улице перед окнами греблись куры в песке. Под стеной стоял мотоцикл с коляской.

В достатке живут, подумал я, не то что тетка Мария с Галей. Не стыдно им и в дом пригласить чужого человека. Там уже и лавок под стеной, наверно, нет, стоят городские стулья...

Мелькнула у меня мысль и о том, что не помешало бы мне здесь переночевать. Вон какой большой дом, место, поди-ка, найдется! Мне ведь и нужна-то одна только ночь, а днем похожу по селу, порасспрошу старых людей. А потом и на поезд...

— Понимаете, какое дело, — сказал я. — Мне нельзя так уезжать, ничего не разузнав...

— А вы сходитэ до головы сільрады, — угадала мою тайную мысль хозяйка. — Давно тут головуе, то, можэ, и знае про вашу родню.

Нет, не хотели они пускать меня на ночь. Достатка у людей прибавилось, а вот добра, сердечности убывло. Да ведь и чужой я им человек, случайный прохожий со своей непонятной для них болью, трудно им отколупнуть от сво его полного счастья хотя бы малый кусочек для меня.

— Диты, бачитэ, у нас малэньки... спать вам нэ дадут. Та и мы з чоловіком встаемо дуже рано...

«Ладно, как-нибудь обойдусь, — подумал я, чувствуя себя, как нищий с протянутой рукой, в которую ничего не положили. — До ночи еще далеко, а в селе, поди-ка, не один этот каменный дом, есть и хаты под соломенной стрехой...»

В сельсовет, как посоветовала мне хозяйка дома, я не пошел, подумал, что и завтра успею. Целый день будет у меня завтра, весь он мой до са мого отхода вечернего поезда. Останется время и на то, чтобы побродить по знакомым и дорогим мне местам, посидеть на берегу обмелевшей речки, подумать. Конечно, досадно, что не нашел я никого из тех людей, которых так хотел увидеть. Досадно и горько.

Я шел по селу, мало что узнавал в нем, и от этого еще больше расстраивался, напрасно говоря себе: «Да успокойся ты! Ничего ведь еще не случилось, чтобы горевать. Ну, не живут уже в селе — так, может, перебрались в какое-то другое, в те же Яблоньки к брату, Ивану Кандыбе. К нему, конечно, а то куда же им на старости лет. Небось, живут и хлеб жуют!»

Так шел я — и к той хате (она почти не изменилась, разве что ниже осела под почернелой соломенной стрехой) ноги будто сами меня привели. Она вроде как выпала из моей памяти, но как только я увидел ее, в голове моей будто яркая лампочка зажглась. Так вот же, наконец, то место, где я хоть что-то узнаю про Галю и ее мать! Ведь это та самая хата, в которой жила Оляка, Галина подруга, та самая Оляка, которая почти не вылезла ла от нас и была страшно рада, когда и мы с Галей засиживались у нее по вечерам. Приходили к ней и другие девчата и хлопцы, не задетые войной по причине своей зеленой молодости, взбиралась Оляка на табурет и зажигала под потолком семилинейную керосиновую лампу, а я брал в руки балалайку...

Все это живо, во всех подробностях, я вспомнил, обрадовался — и с неожиданной для себя прытью перемахнул через низенький ивовый плетень, представ прямо перед очами женщины, которую завидел еще издали. Чутьем узнал я ее, сердцем понял, что это она. Да и некому тут, кроме нее, копать в огороде!

Оляка была босая, из-под белого ситцевого платка, какие очень любят носить в Украине, на ее загорелое, огрубевшее, но еще не старушечье лицо выбились прямые, серые от седины волосы. Она убрала их усталым движением руки, разогнулась над заступом, взгляделась в меня и... по глазам я понял — не узнала! Не узнала в нынешнем, заметно постаревшем и облысевшем человеке того восемнадцатилетнего чубатого солдатика, по которому когда-то сохла...

Она смотрела на меня, как на чужого человека, который зачем-то топчется на ее картофелище и не знает, что сказать.

— Не узнаешь? — спросил я растерянно.

— Ни. Бачу, що якийсь чужий вы, нэ из нашого сэла...

— И в гости никого не ждала?

— Давно уже нэ жду нияких гостэй, — ответила глухим, ровным голосом.

— А сразу после войны?

— Хто ж тоди кого нэ выглядав!..

— Оляча!.. — назвал я ее девичьим именем. И ожидающе притих.

Провалы в ее бабьей памяти оказались и глубже, и темнее моих. Видно, сильно я изменился... так изменился, что, поди-ка, и сам себя не признал бы, доведись мне встретиться с самим собою — прежним, отчаянно далеким, молодым...

— А того раненого солдатика, Оляка, — я взял ее за руку, — с разбомбленного воинского эшелона — помнишь? Пашку, что лежал у тетки Марии?.. Это же — я! Я, Оляча!

— Павлык! — ойкнула она, и мгновенно заплакала. — Невже це ты? Той самый?!

Мешая слова со слезами, она верила и не верила мне.

— Павлык!.. Ты... той самый?

Я обнял ее за плечи, почувствовал на своих пересохших губах горьковато-соленый привкус ее радостных слез, и тоже чуть не заплакал.

— Павлык, — лепетала она мне в грудь, — зараз бачу, що це ты. Вельмы переменився, алэ ж ты! Ты!

— Я, я. Не убитый, живой, — пело у меня в душе.

— Нэ забув про нас?

— Всегда помнил.

— Павлык! Е у мэнэ твоя солдатська карточка, е! Высыть на стини в рамци пид шклом!..

Две солдатские фотокарточки было у меня. Одну я подарил Гале «на долгую и вечную память», а вторую тогда выхватила из рук она, Олька. Не подписанную на обратной стороне, чистую, без надписей. Берег я ее для матери, все думал послать когда-нибудь, пусть посмотрит, какой ладный я в военной форме... Но коль уж выхватила, то не стал отнимать и даже хотел подписать. Не дала — не ее ведь любил!

И вот — сберегла, держит в рамке под стеклом. Наверно, вместе с карточкой родителей, умерших от голода в страшном 32-ом году...

Она молчала, словно устыдившись своего признания. Но я все равно слышал ее голос, он не уходил из меня и звучал все громче: «Е у мэнэ твоя карточка, е!» И только тут я понял, что если Олька кого и ждала с войны, то только того солдата - красноармейца, того Павлыка, который обещал вернуться в село к ее подруге Гале, а через нее, значит — и к ней, несчастливой на любовь.

Я же вспомнил о ней лишь сейчас, когда стал перед хатой, как перед глухой стеной. Мог бы, пожалуй, и мимо пройти, не кольни меня что-то в сердце.

Жила она одна в своей старой хате. Здесь мало что изменилось, не было только лавки, на которой мы сидели, бывало, и стену спиной подпирали — теперь вокруг стола, покрытого отбеленной льняной скатертью, стояло несколько простых табуреток. На стене, в рамочке, среди других пожелтевших фотографий, увидел я и свою, ту самую, неподписанную — она висела как раз между изображением глазастой, радостно-удивленной дивчины, в которой я сразу признал свою Галю, и другой карточкой, с которой смотрела на меня сама Ольча — с перекинутой на высокую грудь, толстой и светлой, как пшеничное перевясло, косой. Чему-то мягко и доверчиво улыбалась она из-за стекла, будто знала про нас с Галей что-то смешное.

Умывшись после работы, она гладко зачесала назад свои еще густые, завидные волосы, нарядилась в белую кофточку с длинными, вышитыми крестом, рукавами, надела черную саржевую юбку, не длинную и не короткую, а как раз в меру, по возрасту. От всего этого она очень похорошела и, видать, почувствовала себя несколько стесненно. Похоже было, что стыдилась она этой своей пригожести, этого преображения, и пыталась угадать по моим глазам, не думаю ли я чего такого, не осуждаю ли за желание казаться лучше и привлекательней.

А я и не осуждал. Я смотрел на нее и радовался, что как ни разводила нас жизнь по разным дорогам, они все же снова пересеклись на том самом перекрестке, что мы узнали друг друга и не отвернулись, что сидим вот, посветлевшие и даже помолодевшие, за праздничным столом, хотя на улице самый что ни на есть будний день.

Как ни трудно было нам подступаться к завалу из многих весен и зим, мы их все же постепенно разобрали, расчистили. Я рассказал, как после ухода из их села две недели рыл противотанковые рвы на Десне. Как потом послали меня воевать на Юго-Западный фронт. Дела там оказались хуже некуда, весь фронт угодил в огромный немецкий котел...

— Вся сила, Ольча, была на их стороне — танки, машины, пушки, самолеты. И все это против наших винтовок и устарелых пулеметов - «дегтяриков». Бомбили нас так, что головы от земли не поднять, танками давили... много кровушки пролилось! А кто в живых

остался, тех взяли в плен. И я туда же попал... и не гадал, не думал, что выживу в той кошаре, куда нас загнали, в той клятой Германии...

— Ох, Германия!.. — воскликнула внимательно слушавшая меня Оляка. — Наробила вона горя нам всем!

— В этом ей не откажешь...

Помолчав, я с горечью, с обидой в голосе добавил:

— Но и наши, освободители, добавили горя... Мне вот пришлось за все сразу расплачиваться: и за то, что не застрелился и сдался, что работал на фашистов, что не бежал из плена... Лагерем, Оляка, пришлось расплачиваться — и не германским, а нашим, советским, загодя для нас припасенным!

Полузакрыв глаза, она безмолвно слушала меня, кивала время от времени головой, вздыхала. Но как только я упомянул о письмах, которые писал им сюда из советского лагеря, вздрогнула. Даже через ее густой летний загар пробились бледность, и первым ее невольным движением было встать и куда-то уйти. Я понял этот ее порыв, это движение ее сердца, и замолчал.

Притихла, насторожилась и она. Но вдруг, отбросив какие-то препятствия в себе, словно разрушив какую-то плотину, заговорила.

— Твою Галю, Павлык, — заговорила она рвущимся, взволнованным голосом, — ну и мэнэ, нас вмести, нимци скоро забрали на работу в свою Германию! Там попали до бауэра и ходылы за його скотыною, гнулы спину в поле. Билого свиту нэ бачили ни в будный день, ни в празднык. Кормила хозяйка погано — одной картоплею и брюквою, да ще погрозою: «Будэтэ нэ слушаться и лениво арбайтать — отправлю в штрафлагерь!»

— Да, этого добра для нашего брата не жалели, — произнес я, и хотел было еще что-то добавить о своих злоключениях, однако смолчал.

— И надумалы мы з Галею уतिकать. Припаслы на дорогу сухариков и тэмною осинной ночью, колы хозяйин з хозяйкой заснулы, утикалы. Да нэ далэко. Як було тикать — без языка, в замитной одэжи! На другий дэнь нас и пиймалы... назад вернулы...

Она посмотрела на меня как-то робко, подошла к тумбочке и медленно вытащила из верхнего ящичка небольшую пачку перевязанных суровой ниткой, старых, пожелтевших от времени писем.

— Ось, усе тут. И те, якие ты писал Гале сюда, на сэло. И те, шо она сама писала з Немеччины, пока ще могла писать... Простудилась она зимою... зима там сыра, холодна... и всэ кашляла, кашляла. Под конец уже кровью — и нэ вставала. А весною, як снегу нэ стало, то и померла. Нэма больше нашей Гали, нэма...

Я взял письма и стал перебирать их нехватким и, малопослушными пальцами. Мои, мои письма! Были здесь и сложенные треугольнички, с лагерным штампом, и последние, уже со спецпереселения, в конвертах и с марками. Некоторые из них Оляка зачем-то вложила в конверты, и даже надписала на конвертах мой лагерьный адрес, да так почему-то и не отправила, не вернула их мне. Наверно, боялась сообщить мне горькую правду, лишит меня надежды.

— А тетку Марию, Павлык, ще долго требовалы в район и всэ допытывалысь, дэ ей дочка, чога вона там осталась — чи понравылось ей там, шо и назад нэ схотела вертаться!..

Она справилась с охватившим ее волнением и продолжила:

— Восьми год, як нэма уже и тетки Марии. Узнала, шо ей Галя лежит в чужий земли, и нэ вынэсла горя, дуже скоро до доньки перебралась, на тот свит...

Я слушал Ольку и молчал. Все слова, которые я хотел сказать, горели огнем у меня в сердце, а горло перехватило, точно удавкой.

А она все рассказывала — уже тихим, смиренным голосом:

— Все трое, Павлык, теперь лежат у сырой земле. Дид Панас, той самый, шо стал сторостою при нимцах и багато спас людей от Немеччины, гдэ-то на Печоре загинул. Тетка Мария — за селом лежить. А про Галю ты вже знаешь...

Голос мой дрогнул было, но я совладал с собой:

— Знаю теперь... Ну, а ты? Как вернулась из плена — сразу домой?

— Ага, сразу!.. Всэ лето-леточко держали в яком-то своем фильт... фильтраційном лагере... Допытывались, чи нэ своею охотою пошла в Немеччину, що и як там робила... Ще тут, в селе, в район нэ раз вызывали и дознавались: як попала... чого не убежала в лес, до партизанов... Так, звиняй те, и попала, що вы нас оставили, а сами за Волгу убежалы... а партизан и духу ще нэ було...

Я лежал в клуне и долго не мог заснуть. В Ольчиной хате, в тревожной ее темноте я не захотел ночевать — не привык на Крайнем Севере к теплу, и как-то все мне тут мешало: и белеющие в темноте стены, и низкий, давящий потолок, и даже моя собственная фотография на стене, в рамке под стеклом. А здесь, на сене, было мне хорошо, просторно. Сюда, на вышку с сеном, через полуотворенные внизу ворота беспрепятственно входили в мое сердце все сельские звуки и шорохи, все ночные голоса — и были они провеяны ветром, очищены кратковременным дождем.

Где-то в другой половине клуни, в хлеву, неторопливо жевала свою жвачку корова, глубоко и шумно вздыхая, словно тоже ломала голову о своем назначении и месте на земле, а еще дальше клохтал озабоченный моим неожиданным вторжением петух, беспрестанно допытываясь: «Кто-кто-тут? кто-кто-тут?»

Кто я? Зачем я тут? Не все ли равно... Просто надо было мне приехать сюда, в это далекое село, надо было услышать все то, что я услышал, надо было понять что -то. Что-то очень личное и очень для меня важное, без чего я не мог спокойно жить. И поставить, наконец, точку на одной из страниц своей жизни.

1981 год, Инта.

ПОЭЗИЯ



Александр Кочкин

Ручей на камешках

ДЯДЯ КОСТЯ

Был день Победы.
В доме пели гости.
На крышах флаги празднично цвели.
А инвалид,
Сосед наш, дядя Костя
Ломал, ругаясь пьяно, костыли.

Он так всегда.
Его жена, робея,
Вела через поющее село.
И говорила тетка Пелагея:
— Ему, бабенки, значит, тяжело...

Он в голос плакал,
Слез не утирая.
А то кричал неистово:
— Ур-ра!
Потом в траву валился у сарая
Там, где в войну играла детвора...

Александр Сергеевич Кочкин родился в 1929 году в деревне Лешкино Пошехонского района Ярославской области. Окончил семь классов школы рабочей молодежи, а затем Тихменевский лесной техникум. С подросткового возраста сотрудничал с районной прессой, с 1970 года до выхода на пенсию (и еще пять лет после этого) работал собственным корреспондентом ярославской областной газеты «Северный рабочий».

Газетные статьи автора часто перерастали в полноценные публицистические материалы, публиковавшиеся в общесоюзной журнальной периодике. Очерк «Узоры льна», опубликованный в журнале «Наш современник», получил обширную почту, обсуждался среди льноводов. Шли отклики и на очерк «Суть крестьянская», опубликованный в журнале «Волга». Публицистика А.Кочкина приходила к читателю со страниц многих других журналов, коллективных сборников и альманахов, выходила в свет отдельными изданиями.

Автор нескольких поэтических сборников («Кештомские строки», «Поляны», «Ветка рябины», «Русь моя — боль моя» и др.). В 2006 году в Рыбинске вышла его новая, десятая по счету, книга «Горизонты любви». Постоянный автор нашего журнала.

Живет в Рыбинске.

© Александр Кочкин, 2006.

* * *

Людмиле

За праздники, что ты мне подарила,
Благодарю. Не смел я их просить.
Ты заново то чувство воскресила,
Которое не думал воскресить.

В страну, где утро в соловьиных трелях,
Я думал, мне уже не будет виз.
Рука в руке — мы словно на качелях...
Куда летим, скажи мне:
Вверх или вниз?

ГАЗЕТНОЕ

Пишу. Верней, штамую:
Газетное, сойдет.
На вахту трудовую,
Мол, кто-то там встает.

Хоть вижу: этот кто-то —
С дрянцою мужичок.
Но знает он работу,
А прочее — молчок.

Пишу. Сказать по чести,
Суровой ниткой шью.
Но надо строчек двести —
И я их выдаю.

А совесть будоражит...
Ведь, если не порву,
Герой прочтет и скажет:
«Я правильно живу».

Такое наше дело
Газетное. Ну, что ж!
Коль совесть не заела —
Спокойно проживешь.

Ведь так оно от века
Ведется. Жизнь любя,
Одни — за человека,
Другие — за себя.

Сверлить мне будет ночью
Бессонница виски.
Изорванные в клочья,
Летят черновики...

ОБМАН

Да, мы порой к природе глухи,
Азарт захватывает дух.
Мои ровесницы — старухи,
А я смотрю на молодух.

И придает душе отвагу
Густая проседь бороды.
Треплюсь про сивого конягу,
Что не испортит борозды.

Молодка, скинув полушалок,
Глядит лукаво на меня.
Мол, завести бы не мешало
В оглобли старого коня.

Ну, чаровница! Ну, плутовка!
Обнять пытаюсь. А она
Из рук выскальзывает ловко —
И горяча, и озорна...

Да, мне давно уже не сорок,
Идет к причалу караван.
Но как он мил и как он дорог —
Очаровательный обман.

ОДИНОЧЕСТВО

Черными квадратами окошек
Смотрит ночь на скверик у ларька.
Ходят ведьмы, превратившись в кошек,
В темных переулках городка.

Фонари. На край дорожки льется
Свет — из белой чашки молоко.
В сквере пара. Девочка смеется.
Ей еще до ведьмы далеко.

Но зачем тогда звезда лучится,
Кутается в облачко луна?
Боже мой! Как просто превратиться
В злого беса или колдуна...

РОДИНА

Синева. Разлив хлебов волнистый.
В стороне деревня у леса.
О шершавый берег каменистый
Трется боком гладкая река.

Тропка в гору. Выбиты ступени.
Сосны запрокинулись в зенит.
То ли слышу жаворонка пенье,
То ль ручей на камешках звенит.

Низом — луга пестрая косынка.
Незабудки. На цветке пчела..
Родина! Здесь каждая травинка
Словно бы сквозь сердце проросла.

ПРОЗА



Александр Некрасов

Приходящий вовремя

РАССКАЗ

Я не умею опаздывать. Это одно из того немногoго, чего я не умею. Когда -то, до перехода к Свету Через Тоннель, я не умел очень многого — не мог дважды входить в одну и ту же реку, преодолевать боль, злость, усталость, сдерживать слезы и смех, не мог мыслить со скоростью двух десятков тысяч операций в минуту. А теперь я все это могу... но уже не испытываю ни боли, ни радости, ни печали, ни сомнений, ни ненависти. Все это осталось в первой жизни, где и оставляло ее смысл. Ныне у моей жизни другой смысл. И самое главное в ней именно это — не опаздывать. Так определил мою жизнь Тот, Кто выше меня — Вершитель Судьбы.

...Вот и сейчас я появился вовремя, именно в ту секунду, когда должен был появиться. Мальчик в сереньком, запыленном школьном костюмчике еще даже не успел упасть, он еще стоит у токарного станка, к которому несколько минут назад его одноклассник тайком подвел электрический провод, а потом оголенный конец засунул в розетку. Сейчас виновник этого бессмысленного убийства как ни в чем ни бывало слоняется неподалеку от этой школьной мастерской. Но о нем после.

Тринадцатилетний мальчик в эту секунду уже мертв для той жизни, в которой он появился на свет в семье пьющего рабочего строительного участка и скромной кассирши из автопредприятия. Он уже испытал страшный, ослепительно -черный удар по всему своему существу, уже промчался к Свету Через Тоннель, он уже не видит своих немногочисленных одноклассников, которые только что недоуменно обернулись на него короткий, но странный и жуткий вскрик, не видит и пожилого, какого -то потертого,

Александр Вениаминович Некрасов родился в 1956 году в Казахстане, в семье железнодорожников. В 1977 году окончил историко-филологический факультет Уральского педагогического института имени А.С. Пушкина, работал учителем русского языка и литературы. В 1984 году переехал на постоянное жительство в Ярославскую область. Работал корреспондентом районной газеты, инструктором райкома КПСС, заведующим организационным отделом Большесельского районного Совета. В 90-х годах прошлого столетия был преподавателем в сельской школе, работал в районном центре занятости населения, окончил факультет практической психологии Ярославского педагогического института имени К.Ушинского. В 2001-2004 гг. заведовал отделом молодежи в администрации Большесельского района, был заместителем главы муниципального округа по социальной политике. В 2005 году избран главой Большесельского сельского поселения.

Сочинительством увлекся в школьные годы. Сказки, с тихи, рассказы публиковал в газетах и коллективных сборниках. В 2005 году опубликовал в нашем журнале несколько сатирических сказок. Живет в поселке Большое Село Ярославской области.

© Александр Некрасов, 2006.

лысоватого учителя труда, начинающего понимать трагический для всех них (и для него — в немалой степени) смысл случившегося. Если бы мне было оставлено умение жалеть, я бы пожалел этого замученного жизнью и ближними человека, которого эти ближние вскоре затаскают по новым мукам, как будто в этой истории можно еще что-то изменить и исправить. Но умения жалеть — такого, какое дается нам в той, первой жизни, мне не оставлено. Здесь и теперь нам дано более высокое умение.

Теперь мальчик видит только меня. Пройдя через ужасную боль, через беззащитное непонимание того, что с ним случилось, даже пройдя уже через Тоннель, он еще не остыл к той жизни. На его бледном, с потемнением от электрического удара, лице явственно проступили рыжие конопушки, а в блекло-голубых глазах застыли слезинки страха и боли. Иди сюда, маленький, не бойся. Все, что было тебе суждено испытать, уже позади. Ты не вернешься назад. Ничего не смогут сделать ни школьная медичка, ни врач «скорой помощи».

Я протягиваю вперед руки — мои руки, которые видим только мы с ним в этой пыльной, с пробивающимися через грязные стекла лучами полуденного солнца мастерской, он и я. Происходит волнующий — о, если бы я мог волноваться! — момент отделения сокровенного тела от тела смертного, которое есть всего лишь тленная материальная оболочка. Мертвое, ненужное уже тело мальчика с негромким шумом падает назад, затылком и спиной ударяясь о грязный деревянный пол. Сейчас, если бы кто и захотел что-нибудь увидеть, то не увидит — все внимание окружающих устремлено на это вдруг рухнувшее тело. А сокровенное тело, до мельчайших деталей копирующее тело материальное, — только гораздо более бледное, еле различимое даже для моего зрения, — уже попало в мои надежные объятия. Я заботливо усмиряю его легкую дрожь, согреваю — ведь оно все еще так потрясено. Ничего, оно успокоится. А вот в материальном теле в самое ближайшее время начнутся необратимые процессы. Если бы я мог проявить нетерпение, то поторопил бы их — эта оболочка должна скорее исчезнуть, так лучше... Но это не моя забота. Я уже могу уходить со своим спутником, ухожу я тоже всегда вовремя. В этом месте других жертв жизни, полной опасностей и несчастий, еще долго не будет!

Стоп! Старик меня все-таки заметил. Я вижу его остановившийся взгляд, капли холодной испарины на лысоватом лбу, крупно дрожащие руки. Ну конечно, целиком меня он увидеть не может, заметил только темную тень. Это Вершитель Судьбы подает мне знак. Не пройдет и двух лет, как задрганной работой, нуждой, семьей и новыми для него испытаниями учитель умрет от рака печени в городской больнице, и никакая операция его не спасет. В той, прошлой жизни я тоже имел большие проблемы с желудком и хорошо помню те тяжелые, поистине безысходные мучения, которые выматывают человека перед уходом в иной мир. Но пока судьба учителя будет продолжаться — продолжаться на самом бессмысленном отрезке ее пути к завершению. Что ж, у каждого свой способ умирания в той жизни.

Я выхожу с мальчиком, прижавшимся к моей груди, из убогой мастерской, стены которой никого не могут уберечь от смерти, если Вершитель Судьбы решил смерть не останавливать. Мальчик шевельнулся у меня на руках: он увидел своего убийцу, стоящего среди других прогульщиков и двоечников за углом мастерской, на солнечном припеке. Коренастенький, плотно сбитый паренек, вихрастый и очень подвижный, он что-то увлеченно рассказывает приятелям, размахивая руками. Но явно не о том подлом и жестоком (на языке людей той жизни) поступке, который он совершил. Убивать мальчика он не думал, он вообще мало думает, за что и поплатится жизнью довольно скоро, а точнее говоря, всего через пять лет. Пьяненького, задравшегося по пустыкам в компании таких же хулиганов, его вытолкнул из тамбура пригородной электрички на полном ходу, при падении он переломает себе кости и проломит голову о щебенку, а потом будет в одиночестве и тяжелой агонии умирать около часа. Натечет целая лужица из его крови и мозгов. Сейчас он об этом знать не может, он не помнит уже и того, что по пустыку разъярился на свою сегодняшнюю жертву и, не удовлетворясь нанесенным ей

подзатыльник, решился отомстить покруче. Его короткая дорога в той жизни тоже могла бы вызывать сожаление... если бы оно у меня было. Вершитель Судьбы — в той жизни его называют Богом — судит людей через них же самих. Иногда Он позволяет убивать их силам природы, но никогда не убивает Сам. Ведь любое убийство бессмысленно. Зачем же эти люди делают то, что и без них будет сделано кратким временем той жизни?

Я знаю, куда Вершитель Судьбы определит мальчика, чья первая жизнь оборвалась в школьной мастерской. Я вижу, что у ребенка, находящегося в моих объятьях, нет гнева на своего погубителя. Это верный признак того, что в той жизни называют чистой и доброй душой. Значит, не понадобится нести мальчика в Хранилище Забвения — вот уж поистине скорбное место. Там долго — тысячелетиями! — пребывают те, которые в прежней жизни жили неразумно, создавая трудности, принося несчастья другим. Вернее, не те, а то, что в свернутом, обезличенном виде наполняет Хранилище... Этот материал может пробыть в таком состоянии вечно. У мальчика же другая судьба — он родится вновь, в другое время, в другом народе. Конечно, Вершитель Судьбы не оставит ему память о прошлой жизни, но иногда смутные воспоминания будут словно всплывать перед его внутренним взором, забытые ощущения будут тревожить его, он будет видеть иногда странные сны... но действительно вспомнить — или увидеть — ничего определенного не сможет.

А в той жизни, из которой он только что был так грубо и внезапно вырван, ничего интересного в ближайшие дни и месяцы не будет происходить. Будут похороны, на которые, как в таких случаях водится, придет много народу. Обмирающую от ужасной для нее потери, смертельно бледную, потерявшую голос и едва дышащую мать мальчика поведут за гробом под руки. Отупевший от свалившегося на семью удара и от вечных своих запоев отец будет бестолково соваться всюду, не зная, что делать и как себя вести, но не забывая, впрочем, украдкой при удобном случае принять стопку водки — «для облегчения на душе». Будут венки, будут вытянувшиеся печальные лица ребят, пересуды и причитания взрослых, надрывный вой похоронного оркестра. А потом мальчика все начнут потихоньку забывать — и его товарищи, и соседи, и учителя. Много неприятностей придется пережить директору, завучу, преподавателю предмета с неуклюжим названием «обеспечение безопасности жизнедеятельности» и, конечно, самому крайнему виновнику случившегося — тому самому учителю, лысоватому и потертому... Но о том, как закончится этот безрадостный период его жизни — уже сказано.

Для людей той жизни все эти подробности какое-то время интересны. Для меня же самое главное — прийти вовремя. Еще не было случая, чтобы Вершитель Судьбы отменил мой приход. Если я пришел, значит, обязательно унесу с собой спутника. Таких, как я, у Вершителя много, но даже нам самим неинтересно знать, сколько именно. Нас не видят люди, и не должны видеть. Мы и сами не видим Вершителя, не слышим Его — мы просто мгновенно понимаем Его волю. Его воля всегда разумна. Люди той жизни употребляют такие слова, как «доброта», «справедливость», «мудрость»... нам так много слов не надо. Слова часто мешают понимать происходящее на самом деле.

Мальчику, доверчиво прижавшемуся ко мне, уже хорошо. Конечно, на его похоронах будут всхлипывать и голосить о том, что слишком рано оборвалась его жизнь — дескать, ему никогда не испытать радостей любви, созидательного труда, семейного счастья и всего такого прочего. Но ведь и горестей, бед и потерь, связанных с той жизнью, ему тоже не придется пережить. А та человеческая жизнь устроена таким образом, что ее радости мимолетны и эфемерны, а беды невыносимо тяжки и длительны. Впрочем, на самом деле и счастье, и несчастье равны по силе и времени, но таково уж человеческое восприятие, легко забывающее «хорошее» и крепко помнящее «плохое»... Если бы мальчик остался в той жизни и не испытал удара электрическим током, в семнадцатилетнем возрасте он пережил бы тяжелейшую потерю своей матери, которая

умрет от рака желудка, а потом еще несколько лет мучился бы с отцом, окончательно покотившимся по наклонной...

По оживленной солнечной улице, где нас никто не видит, мы движемся не спеша. Мне не надо никого обходить или задевать. Мое существо устроено так, что люди сами обходят меня, не замечая этого. Я не тороплюсь, потому что знаю, что не опоздаю — воля Вершителя Судьбы не отдаст мне нового повеления. Сейчас мы дойдем до одной из Точек Перехода — их несколько на этой улице, хотя абсолютно никто из живущих той жизнью даже понятия о них не имеет.

Однако впереди, метрах в ста от нас, на перекрестке сейчас кое-что произойдет: мимо меня промчался, подав мне приветственный знак, мой товарищ из Приходящих Вовремя. Через несколько секунд он примет в свои объятия нового подопечного, потому что тяжелый грузовик только что неосторожно вывернул на перекресток из переулка, а «жигуленку» уже не затормозить: молодой мужчина за его рулем — не очень опытный водитель, да и не в этом, в общем-то, главная причина... Неповоротливый грузовик выехал слева, а справа — тротуар со снующими людьми; водителю «жигулей» выбора просто не оставлено. Бывают такие препятствия, которые уже не миновать, не объехать...

Бац! Так и есть. Все-таки он пытался проскочить, не выехав на тротуар, чтобы не сбить прохожих... это ему тоже зачтется в плюс. Мгновенная смерть от мощного удара в левый висок. И мой коллега уже протянул ему руки...

ПРОЗА



Ирина
Борисова

Я была верной душой

Из книги «Шестерка бубен
против джокера, или...»

На душе так, что протяжно скулить хочется. Там не то что кошки скребут — там как после бомбежки, живого места нет. Еще чуть-чуть — и кранты. А может, не жить? Вот уж хрен, я себя выдерну!

Усилим воли заставляю себя подняться с любимого кресла, волочусь к зеркалу в спальне, принуждаю руки взять косметику и сделать легкий макияж. Ну вот, расческа выпала. Ничего, и так сойдет.

В глазах — застывшая боль, губы, кажется, разучились улыбаться...в общем, все ужасно. Но, кажется, я все-таки жива.

Сейчас мне просто нужно выйти из дома. Но куда пойти? Может, подругу позвать? Но что -то внутри сопротивляется.

Значит, пойду одна. Хотя это, по нынешним временам, совсем небезопасно.

— Мам, ты куда?

— Не знаю, куда-нибудь.

— Когда придешь?

— Поздно, ложитесь спать.

Две пары повзрослевших глаз смотрят на меня, не скрывая тревоги.

— Мне нужно прогуляться, мне плохо. Я хочу развеяться.

Неконтролируемые слезы опять текут по щекам к подбородку, я отворачиваюсь, растираю их ладонями, сжимаюсь изнутри в комок и отдаю себе приказ: пре-кра-ти. Кажется, на этот раз получилось.

Ирина Валентиновна Борисова родилась в 1968 г. в Ярославле. После окончания средней школы работала учеником токаря и контролером ОТК на заводе, в 1991 г. поступила в Ярославский Государственный педагогический институт имени К.Д. Ушинского на факультет русской филологии и культуры. Работала воспитателем детского сада, учителем русского языка и литературы. В 2000 г. получила еще одно высшее образование — учителя-логопеда, трудилась по специальности. По совместительству работала администратором казино, ночного арт-клуба, затем — менеджером по персоналу сети кафе быстрого питания «фаст-фуд». В настоящее время — директор муниципального предприятия, главный редактор районной газеты.

С юности пишет стихи, с недавних времен — рассказы, несколько лет посещает литературное объединение. Стихи публиковались в городской прессе, в коллективном сборнике «Мольба», вышедшем в свет в Ярославле в 2002 году. На стихи И.Борисовой местными бардами написано несколько песен.

Живет в Ярославле.

Пытаюсь растянуть губы в улыбке:

— Все нормально. Дверь запираю на ключ.

Выходя, задеваю косяк, но ушибленному пальцу не больно. Для проверки щиплю себя за запястье — глухо. Эта болевая блокада длится уже больше месяца, какое-то онемение тела. И еще — мне холодно, всегда холодно, пробирает прямо до кишок. Отогреться получается только под душем, поэтому я и забираюсь туда раза по три на день, включая практически кипяток.

Под ногами хлюпает сырой снег, ветер задувает подол дубленки. Накидываю капюшон, прячу руки в перчатки и в карманы. Подруга говорила, что недалеко открылся неплохой бар. Пойти туда? Ноги довольно бодро уже несут меня в нужном направлении. Хорошо, что свитер поддела... ну и погодка! И чего я вылезла? Сидела бы дома...

Нет, раз уж я одна, в темень, в холод, в первый раз в жизни иду в бар, значит... значит, так оно и нужно. И бояться нечего.

Посетителей в баре немного, я сажусь за круглый маленький столик у стены, заказываю пиво, фисташки, закурываю. А здесь довольно уютно. Правда, музыка не ахти, дешевая попса какая-то.

Публика в зале очень разная, но, в основном, ранняя поросль.

Ко мне подходит администратор и вежливо спрашивает, не могу ли я присоединиться к двум джентльменам за соседним столиком, так как стол, за которым я сижу, уже заказан. Я не возражаю, заказан так заказан, тем более, джентльмены, кажется, люди интересные.

И вот уже напротив меня сидит очень крупный, кряжистый мужчина спортивного телосложения, с волевым подбородком и близкосопряженными глазами под тяжелыми веками. Секунду подержав стопку, которая в его пальцах кажется просто детской забавой, он опрокидывает ее содержимое в чуть искривленный, большой рот. По-мужицки крякает и смачно ругается, видимо, в продолжение беседы.

— Ну-ну, ты не ругайся! Видишь, с нами теперь дама сидит. Закуси водочку -то, закуси. Может, вам тоже водочки налить? — обращается ко мне другой сосед солидного вида, в пиджаке и при галстуке.

— Нет, спасибо.

— Но почему же? Разрешите нам за вами маленько поухаживать. Поскольку уж мы оказались за одним столом, может, составите нам компанию?

— Хорошо, составлю.

— Вам коньячку взять? Или вина?

— Лучше вина.

— Девушка, будьте добры, у вас какое вино хорошее? Вам красного или белого? Принесите, пожалуйста, даме то, что она выберет. Спасибо. Мы, знаете, с другом давно не виделись. Он очень хороший человек. Физмат закончил в свое время.

— Да, было дело, — кивает головой кряжистый.

— Вот, обмываем его удачную сделку. Я за него очень рад! Ну, Вовчик, за тебя!

Кряжистый опрокидывает в себя еще одну стопку и, вежливо попрощавшись, уходит.

— А позвольте поинтересоваться, вы здесь кого-то ждете?

— Нет, я одна.

— Отчего же такая милая, симпатичная, не постесняюсь сказать, женщина — одна? Да еще и так грустит.

— Почему вы решили, что я грущу?

— Это видно по вашему лицу.

— Да, у меня крах личной жизни.

— А что случилось?

— От меня ушел муж.

— От вас? Да вы что? От таких не уходят надолго.

— Это навсегда.

— Но почему же?

— Другая женщина.

— Перестаньте, уже через два месяца он к вам вернется и будет просить, чтобы вы его приняли назад.

— Нет, этого не будет.

— Ну, не знаю... а дети у вас есть?

— Двое, сын и дочь.

— И сколько же им?

— Четырнадцать и пятнадцать.

— Неужели? По вам не скажешь. Поверьте мне, у вас все будет хорошо. Как вино, понравилось? Ну вот, вы хоть улыбнулись, и щеки порозовели. Вам так очень идет. Позвольте, я выпью за вас? Вы держитесь, жизнь, она такая...

— Я стараюсь быть сильной. И очень люблю сильных людей.

— Да?

— Да. В нашей жизни, чтобы выжить, необходимо быть сильным, смелым и, наверное, непредсказуемым.

— Вы так считаете? А что еще вы думаете о жизни?

— Что за спиною у нас — всегда смерть. Но я хочу жить.

— Сильно сказано. Я бы сказал, в ваших словах видна сила воли.

— Человеку нужно обладать волей. Немало важных шагов я делала за счет волевых усилий над собой.

— И часто вам приходилось это делать?

— Моя жизнь не была легкой. Да и у кого она легкой бывает?

— Это точно.

— Спасибо за вино.

— Да что там, не стоит благодарности. А вы уже уходите?

— Пора домой.

— Поздно уже, если позволите, я вас провожу.

— Что ж, проводите.

Земля покрыта чистым белым снегом, блестящим под фонарными огнями. Мне радостно, что рядышком со мной — мужчина с внимательными, мудрыми глазами.

— Мне с вами так легко, как будто я вас давно знаю.

Снег летит хлопьями, а мой собеседник без шапки. Не удержавшись, я стряхиваю снежный покров с его волос. Он обнимает меня за плечи, заглядывает в глаза и как-то очень по-доброму улыбается.

— Смотри, как красиво кругом, — говорит он. — Какие звезды, снег, эта сказочная аллея... и мы...

Он кружит меня вокруг себя, мы оба чуть не падаем в снег, хохочем. Он рад встрече со мной, он шутит, ему хорошо.

— Какая ты красивая, когда смеешься.

— Вот я и пришла.

— Мне так не хочется, чтобы ты сейчас уходила. А может, здесь можно еще где-нибудь посидеть?

— Здесь есть то ли кафе, то ли бар, но его не хвалят. Я там не была. Вообще, я сегодня я в бар первый раз в жизни пришла.

— Как?

— Вот так. Я была домашней.

— А вместе с мужем?

— Он не хотел.

— А у тебя были другие мужчины?

— Нет, я была верной душой.

— Вот так, да? Ну, пойдем, прошу тебя, побудем вместе еще немного.

Интерьер нового заведения выполнен с претензией на авангард. Мой спутник заказывает коньяк и шоколад, мы выпиваем за приятное знакомство. Он достает паспорт, раскрывает его, показывая мне страницы:

— Вот, я перед тобой хочу быть изначально честен. Я намного тебя старше. Я женат. У меня двое детей. Я их всех люблю.

— Я поняла, что ты женат — по кольцу на руке.

— Ну, да.

Он берет в свою ладонь мою руку и начинает перебирать и гладить мои пальцы.

— Что же у тебя руки-то такие холодные?

Он еще что-то говорит, но я уже не могу вникать в смысл фраз, потому что через его руку в мою бежит теплая волна, вызывая во мне ответную... С удивлением и трепетом я как бы со стороны наблюдаю свое состояние. Такого со мной еще не было. Ведь это просто прикосновение руки... а во мне уже пробудилась забытая нежность.

— Ты вся дрожишь.

Он обнимает меня за плечи, слегка прислонив к себе.

— Мне нужно идти домой.

— Можешь оставить мне свой телефон?

— Могу.

Мы снова выходим под ночное небо.

— Стой.

Снег, кружась, падает на деревья, на землю, на его красивые волосы. Он пристально смотрит на меня и что-то меняется в его лице. Он вдруг начинает петь на хорошем английском, а потом на русском:

Посмотри на меня, не потребую я

от тебя неуклонный ответ.

Если губы горят, если руки дрожат,

ты не сможешь ответить мне «нет».

Его раскрывшиеся губы приближаются к моим губам, я отвечаю поцелуем.

— Поедем со мной! У меня есть дом, он недалеко. Там никого нет.

— Не могу.

— Почему?

— У тебя же жена.

— Ну и что, все будет хорошо.

— Мне уже хорошо.

— Тебе понравился поцелуй?

— Очень.

— Можно, я еще раз поцелую? У тебя такие нежные губы.

— У тебя тоже. Я не ожидала.

Мы целуемся до тех пор, пока я не начинаю осознавать, что еще чуть-чуть — и я уеду с ним куда угодно.

— Господи... да я такую три года у Бога просил...

— Все, мне пора.

— Я тебе позвоню.

Я открываю дверь своей квартиры. Задеваю о косяк, и... ощущаю боль. Я чувствую? Это уже лучше.

Забираюсь в ужасно холодную постель. Перед моими глазами — его лицо, а дальше, на фоне звездного неба, мягко кружатся снежинки. Его губы подрагивают и легкое облачко пара еле видимо в полутьме. Он поет для меня.

По моему телу медленно разливается тепло. Нет, близких отношений у нас быть не может, он хорошо сказал: я их всех люблю. Но ведь он уже стал мне другом, да? Старшим другом.

Все, пора спать. Завтра мне на работу.

Если губы дрожат...



ПРОЗА

Валерия Капустина

Это было со мною

Рассказы

ЗОВ ГЛУБИНЫ

Было мне девять лет. Как-то после обеда я лежала в тени на лужайке, за домом — и смотрела вверх, где высоко-высоко в бирюзовой глубине неба летел самолет. Летел он медленно, потом скрылся — а я продолжала упорно вглядываться в небесную глубину. Ни облачка, ни ветра; рядом, играя, летали стрижи. Незаметно душа моя вышла из тела и поднялась в бирюзовую высь.

Глядя сверху, я видела цветущий Полежаевский луг, Алексеевскую подборину, деревню, наш дом — а рядом с домом видела себя, лежащую на траве и улыбающуюся мне, летящей в небе. И одновременно я, лежащая на траве, радостно глядела на себя, летящую в небе...

Простор и глубина неба полонили мою душу и, может быть, она так и не вернулась бы назад — но вдруг откуда-то раздался голос:

— Ляля! Я тебя ищу, а ты вот где!

Это кричала Катя Васильева, моя подруга.

Душа моя возвратилась в тело.

— Ах! Катя, ведь я сейчас летала в небе!

— А как же ты туда попала? — доверчиво спросила подруга.

Валерия Александровна Капустина родилась в 1924 году в г. Мологе. Внучка В.М. Шувалова, потомка адмирала Федора Ушакова, ныне канонизированного Русской Православной Церковью. В 1943 году окончила Рыбинское педагогическое училище, затем работала воспитателем и заведующей детским садом в Рыбинске. В 1954 г. окончила филологический факультет Ярославского педагогического института. С 1960 г. преподавала в Рыбинском педагогическом училище методику родного языка, логопедию, художественное чтение. Затем работала учительницей в школах Рыбинского района.

С 1979 года – пенсионерка.

Автор нескольких книг прозы, написанных совместно с матерью Лидией Васильевной, в том числе «Зоренька ясная», «Я помню Вас», «Русь моя светлая», «По Шехонь-реке», «Жаворонок», «Живая память», «Моя приемная семья», «Ивушка». Большинство этих книг навеяно воспоминаниями о родине предков, затопленной Рыбинским морем. В 2005 году опубликовала в нашем журнале подборку рассказов.

Живет в Рыбинске.

© Валерия Капустина, 2006.

— Смотрела, смотрела в небо — и улетела! Всё видела — и луг, и лес, и речку...
Так впервые позвала меня к себе глубина. Глубина неба.

В конце 50-х годов мы с зятем поехали на моторной лодке по морю — я уговорила Васю свезти меня к Мологе. День был тихий, солнечный; мы приехали на место и остановились. Вокруг, насколько видит глаз — вода, и только высокий черный буй с буквой «М» указывал место, где под толщей моря лежала моя малая родина. Ни звука, ни шороха; убаюкивающая тишина.

Я стала вглядываться в водную глубину — и вскоре сквозь слой воды отчетливо увидела наш дом, нашу улицу... по панели шел столяр Чиркунов, тот самый, что сделал нам полированный книжный шкаф во всю стену, а по другой панели шла моя бабушка — та, которую я никогда не видела в жизни. Рядом, на скамейке у дома, сидела я сама, пятилетняя, с куклой в руках...

Мне неудержимо захотелось присесть на ту скамейку, рядом с самой собою — и всем своим существом я потянулась в глубину. Она тянула меня, словно маг нитом!

Еще мгновение — и я упала бы в воду, но резкий голос Васи вернул меня в действительность.

— Едем скорей отсюда! — сказал он, схватив меня за рукав.

Я опомнилась. Что это было? Какая-то неведомая сила овладела на несколько мгновений моей душой — и я, не сопротивляясь, потянулась в глубину воды... Спасибо зятю, спасшему мне жизнь!

В начале нового века мне вновь удалось навестить родные места. Лето стояло сухое, море обмелело и большое пространство мологской земли выступило из воды.

Мы приплыли на лодке к сухому песчаному острову и ступили на берег. Господи, откуда же взялся этот песок?

День был пасмурный, небо серое, но без туч. Кругом — гладкая земля: ни рытвины, ни бугорка, ни растительности. Чистый, желтый, утрамбованный водой песок простирался во все стороны, а между низким серым небом и желтым песком лежал широкий воздушный коридор, высотой три-четыре метра. Он уходил в глубокую, бесконечную даль.

Глубина дали овладела моим существом. Подчиняясь какому-то неведомому зову, я быстрыми шагами стала удаляться от лодки и людей. Так, не останавливаясь, прошла около двух верст, потом остановилась.

Стояла звенящая тишина: ни криков птиц, ни людских голосов. «Меня ведь могут и оставить на этом острове», — мелькнула мысль. Но сила, влекущая меня в глубину дали, была сильнее здравого смысла. Я уже почти бежала навстречу этой глубине, она взяла в плен мой разум... но вдруг, прорвав незримую пелену, ударила мысль: «Дома мама ждет меня — а я не вернусь из моря!»

Круто повернувшись, я бросилась бежать обратно. Еле успела: лодка с людьми уже собиралась возвращаться к теплоходу.

Я пишу здесь только о том, что испытала сама — и презирала бы себя, если бы что-нибудь из написанного было неправдой. Но что это было? Почему так мощно, как магнитом, всю жизнь тянула меня к себе эта колдовская глубина, почему так загадочно действует она и поныне на мою психику? Ведь я и сейчас боюсь глубины, не имею сил сопротивляться ей.

Глубина воды, глубина неба, глубина дали... Вспоминаю — и мурашки бегут по коже.
Когда откроют четвертое измерение, многое прояснится.

ДВЕ ТРОПЫ

По тропе, ведущей сквозь старый, полувывсохший ельник, мне доводилось проходить часто, хотя этот участок леса всегда казался мне пасмурным и неприветливым. С близлежащих деревьев давно упали сучья и только на самых вершинах звенела хвоя; у оснований стволов и у корней зеленели мох и черничник. Проходя по тропе, я всегда ощущала некое неудобство — как будто кто-то злой смотрел мне в спину. Сорвав пару грибов и бросив в рот одну-две горсти черники, спешила уйти отсюда в другое место — к солнечным полянам, березам, соснам и рябинам.

Однажды я шла по этой тропе с большой корзиной грибов, направляясь к автобусной остановке. Безветренная тишина, глушь. Вдруг рядом со мною рухнула наземь длинная сухая ель, ее ствол без сучьев упал вдоль тропинки в каких-нибудь десяти-пятнадцати сантиметрах от меня.

Остолбнев, я обернулась и посмотрела назад. Никого.

— Что же вы делаете? — громко сказала я, обращаясь к кому-то незримо. — Я ведь не мешаю вам. Мне тяжело идти другой дорогой!

Конечно же, мне никто не ответил. Упавшее дерево аккуратно лежало на кромке чистой и аккуратной тропы. А если бы оно задело меня? Убило бы насмерть...

Прошло два года — и вновь судьба поставила меня на эту тропу. Теперь я возвращалась домой из леса с полной корзиной черники. Тропа в этот раз была завалена сучьями и вершинами деревьев, идти было трудно, ремень резал плечо, тяжелая корзина сползала ниже спины, пот тек по мне градом... «Господи! Помоги мне пройти этот хаос», — молча взмолилась я.

Перешагнула бревно... и вдруг совсем рядом увидела другую тропу, совершенно чистую.

Обрадованная, я быстро зашагала по новой тропе, всё время, однако, поглядывая на прежнюю: они пролегли так близко! И вот уже обе уперлись в зеленый ельник — теперь до автобуса рукой подать. Если бы я шла по старой, непременно опоздала бы на рейс — а так пришла вовремя. Но откуда же взялась вторая тропа? До самого дома я думала об этом, глядя из автобусного окна, но так и не нашла разумного объяснения.

А через день вновь поехала за грибами и черникой. Как я радовалась, предвкушая грядущий путь по чистой тропке... но увы: она исчезла. Пришлось мне опять идти по той, что завалена прутьями. Я шла и думала: куда же делась чистая тропа? И кто так хорошо помог мне в прошлый раз?

В том же лесу, только ближе к морю, довелось мне встретить и еще одно диво, но уже не столь удивительное. И это диво — тоже тропа, только узкая, моховая. То она неожиданно повернет в сторону, увводя тебя к другой дороге, то вдруг станет едва заметной, то четко обозначится вновь... Как-то она кружила меня шесть раз: я приходила к бугру, где она начиналась, шла мимо трех болотцев справа и одного слева — и в итоге опять оказывалась у бугра. Однажды я даже опоздала на последний рейсовый автобус и, если б не случайный попутчик, корреспондент тутаявской газеты, пришлось бы мне ночевать на остановке.

Но эта тропка кружила не меня одну, многих — а вот случая с «параллельной тропой» никто мне не рассказывал, это было только со мной.

Прошло много лет, но я и сейчас волнуясь, вспоминая об этом удивительном происшествии.